ЦИКЛ «ПОРУЧИТЕЛИ» · КНИГА ПЕРВАЯ

КЛЯТВА, которую Я УКРАЛА



КИРА ШЕР

18+

Петербург, 1913. До ледостава — двадцать пять дней

Кира Шер

КЛЯТВА, КОТОРУЮ Я УКРАЛА

https://litres.ru/75035023
SelfPub; 2026

Аннотация

Петербург, 1913 год. На Невском звенят трамваи, а в салонах вертят столы и вызывают духов.

Аглая Сомова знает изнанку любого сеанса: где спрятать ассистентку, чем натереть перчатку и сколько стоит болтливый дворник. Днём она реставрирует антиквариат, ночью работает «медиумом» для богатых вдов. Чтобы спасти брата от карточного долга, Аглая берётся за заказ - украсть фамильную печать у затворника графа Ладожского.

Но в серебре заперта клятва, которую род Ладожских двести лет назад дал тому, кто жил на болотах до Петра. Капля крови - и долг переходит к воровке.

Теперь Аглая видит, кто прячется в городе: водяниц в Фонтанке, духов в проводах и двенадцать сестёр, берущих ставки теплом человеческого тела. До ледостава двадцать пять дней. Не успеет - плату возьмёт сам город.

Граф уверен, что Аглая работает на его врага, и начинает охоту. Только убить её нельзя: умрёт поручитель - вода придёт за всеми.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 7
ЧУЖОЕ 8
Глава 1. Покойники стоят дорого 9
Глава 2. В этом доме часы не врут 25
Глава 3. Реликварий 46
Глава 4. Ночь на Мойке 64
Глава 5. Город, которого не было 82
Глава 6. Охота 100
Глава 7. Дюжина 118
Конец ознакомительного фрагмента. 140

Кира Шер
КЛЯТВА, КОТОРУЮ Я УКРАЛА

Кира Шер
КЛЯТВА, КОТОРУЮ Я УКРАЛА
Цикл «Поручители». Книга первая

Аннотация

Петербург, 1913 год. Город празднует трёхсотлетие дома Романовых, на Невском звенят трамваи, а в салонах вертят столы и вызывают духов.

Аглая Сомова знает, как устроен любой спиритический сеанс: где спрятать ассистентку, чем натереть перчатку, чтобы светилась, и сколько стоит дворник, которому известны все семейные тайны. Днём она реставрирует антиквариат, ночью работает «медиумом» для богатых вдов. Чтобы спасти брата от карточного долга, Аглая берётся за выгодный заказ — украсть фамильную печать у затворника графа Ладожского.

Но в серебряной печати заперта клятва, которую род Ладожских двести лет назад дал тому, кто жил на болотах задолго до Петра. Одна капля крови — и клятва переходит к

воровке.

Теперь Аглая видит, кто прячется в городе: водяниц в Фонтанке, голоса в телефонных проводах, двенадцать сестёр, что держат игорный дом и берут ставки теплом человеческого тела. До ледостава на Неве — двадцать пять дней. Если к этому сроку долг не будет уплачен, плату возьмёт сам город.

Граф уверен, что Аглая работает на его злейшего врага, и начинает на неё охоту. Только убить её он не может: если умрёт поручитель, вода придёт за всеми.

18+

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧУЖОЕ

До ледостава: двадцать пять дней

Глава 1. Покойники стоят дорого

Покойник стоит двадцать пять рублей за вечер.

Столько я беру с купеческих вдов на Загородном проспекте. С графинь и жён банкиров — пятьдесят: графиня, которой назвали двадцать пять, решит, что её надувают. С курсисток не беру ничего. Платить им нечем, а вызывают они обычно Надсона. Он умер так давно, что не может пожаловаться на стихи, которые я сочиняю от его имени.

Покойный Савва Никанорович Пухов, купец второй гильдии, скобяная торговля на Сенной, стоил двадцать пять. Его вдова, Аграфена Тимофеевна, считала, что это подозрительно дёшево.

— У Шмидтов медиум из самого Парижа, — сообщила она, пока горничная задёргивала шторы. — Шестьдесят рублей берёт. И у него, говорят, дух Наполеона на гитаре играет.

— Наполеон не играл на гитаре, — сказала я.

— Так то при жизни.

Возразить было нечего. Я поправила перчатку и улыбнулась той улыбкой, которую два года репетировала перед зеркалом. В ней были печаль, немного усталости и намёк на то, что о загробном мире я знаю больше, чем мне бы хотелось. Аграфена Тимофеевна вздохнула и ушла пересчитывать стулья.

В гостиной у Пуховых было тесно от вещей, которые по-

купают, когда деньги появились недавно и все сразу. Фикус в кадке. Пианино, на котором никто не играл, а на крышке семь мраморных слоников, от большого к маленькому. Ковёр с турецкими огурцами. Клетка с канарейкой, накрытая на вечер платком. Над диваном висел портрет самого Саввы Никаноровича: борода лопатой, глаза навыкате, рука на счётах. Художник, видимо, покойного недолюбливал. Или любил его слишком честно.

Мне портрет понравился. С такими лицами легко работать. Если человек при жизни был простой, громкий и прижимистый, его дух не станет говорить загадками и цитировать Сведенборга. Он будет стучать, сердиться и требовать, чтобы родня не трогала его денег. Этого от него все и ждут.

За столом нас сидело шестеро. Вдова. Её сестра Олимпиада Тимофеевна, сухая, как прошлогодний веник, с лорнетом на шнурке. Компаньонка, имени которой мне не назвали, потому что компаньонкам имён не полагается. Отставной капитан с третьего этажа: его позвали «для солидности», и он уже успел выпить за солидность две рюмки в буфетной. Племянник покойного, Аркадий Петрович. И я.

Аркадий Петрович не понравился мне с первой минуты, и это было взаимно. Молодой, гладко причёсанный, в пенсне, которое носил не по нужде, а для вида. Третий месяц он жил у тётки «по семейным обстоятельствам». Дворник Фёдор за три рубля и осьмушку табаку объяснил мне, что обстоятельства простые. Перед смертью Савва Никанорович снял

со счёта в Волжско-Камском банке четыре тысячи и куда-то их дел. Вот Аркадий Петрович и ищет. Простукивает стены, когда тётка в церкви. Поднимал паркет в кабинете. Лазил в подпол и вылез оттуда весь в паутине, злой, как кот, которого окунули в бочку.

— Говорят, вы сами разоблачаете медиумов, — сказал он мне в прихожей, пока я снимала шляпу. — Пишете в «Ребус» под чужой фамилией.

— А про вас говорят, что вы изучаете право, — ответила я. — На лекции ходите?

Пока он придумывал ответ, я помогла ему повесить пальто. Пальто было хорошее, английского сукна, с глубокими карманами. В правом лежал карманный электрический фонарь — новенький, американский, с никелированным колпачком. Я вынула из него батарейку, переложила её в свою сумочку и вернула фонарь на место. На всё ушло столько же времени, сколько нужно, чтобы сказать «позвольте».

Откуда я знала про фонарь? Я не знала. Но тот, кто собирается разоблачить медиума, всегда приносит что-нибудь, чем можно посветить. Так делают все. Люди без фантазии берут спички.

* * *

Сеанс я начала, как обычно, с правил.

Руки на столе, мизинцы касаются мизинцев соседей, цепь не разрывать. Свет ни в коем случае не зажигать: дух боится света, как больной глаз. Говорить, только когда спросят. Ес-

ли кто-то почувствует холод или прикосновение, не кричать. Духи пугливы, а Савва Никанорович, царство ему небесное, был человек нервный.

— Нервный? — удивилась вдова. — Да он кочергу гнул.

— Там, — я подняла глаза к потолку, — всё меняется.

Правила нужны не духам, а мне. Пока руки соседей лежат на столе, они не шарят под ним. Пока все молчат, я слышу, если кто-то двигается. А темнота нужна всем. В темноте человек сам дорисует то, чего не было, и сделает это лучше любого фокусника.

Горничная погасила лампу. Остались две свечи в бронзовых подсвечниках на пианино, так далеко, что стол тонул в рыжем полумраке. Я закрыла глаза и задышала глубоко и медленно. Капитан напротив кашлянул. Олимпиада Тимофеевна щёлкнула лорнетом.

Мне нужно было освободить одну руку. Хотя бы одну. Слева сидела вдова, справа Аркадий Петрович, и он держал мой мизинец так крепко, будто боялся, что я украду и его. Я начала покачиваться, потом застонала тихо, на одной ноте. Вдова вздрогнула. На третьем стоне я качнулась влево, к ней, а когда выпрямилась, мизинец Аркадия Петровича лежал уже не на моём, а на тёткином. В темноте все пальцы одинаковые. Оба соседа были уверены, что держат меня. Моя правая рука спокойно легла на колени.

Этому трюку меня научил отец. Лучшие обманы держатся на том, чего люди сами не желают замечать. Никто не при-

знается, что в темноте не отличил руку медиума от руки родной тётки.

Стук раздался из-за стены: три глухих удара, будто кто-то бил в стену подушкой.

Это был Сёмка. Сёмке двенадцать лет, и он сидел в соседней спальне. Пробрался туда ещё днём, через чёрную лестницу и кухню. Кухарке Пуховых я тоже заплатила, рубль. Колотушку Сёмка обматывал войлоком, чтобы звук выходил не деревянный, а потусторонний.

— Савва Никанорович, — сказала я чужим голосом, низким, с хрипотцой. — Если ты здесь, стукни один раз.

Стук.

Вдова всхлипнула.

Дальше всё шло как по нотам. Дух подтвердил, что он действительно Савва. Дух сообщил, что на том свете холодно и что сестрица Олимпиада зря продала его енотовую шубу. Олимпиада Тимофеевна уронила лорнет. Компаньонка тихонько ахнула. Из угла за моей спиной, отгороженного бархатной занавеской, выплыла бледная светящаяся рука и медленно погладила капитана по лысине. Капитан перекрестился, не разрывая цепи, то есть одним подбородком.

Рука была перчаткой, пропитанной фосфорным составом, а внутри перчатки была Нюта. Восемь лет Нюта выступала в цирке Чинизелли под именем «Гуттаперчевая девочка» и до сих пор помещается в шляпную картонку, если её как следует попросить. Сегодня она сидела в «кабинете духов» с семи

вечера и, я точно знала, давно хотела в уборную.

Как раз на этой руке Аркадий Петрович и решил меня поймать.

Я почувствовала, как он отпустил тёткин мизинец и полез в карман. Услышала щелчок. Второй. Третий, сердитый.

— Что такое, Аркаша? — шёпотом спросила вдова.

— Ничего, — процедил он.

Светящаяся рука погрозила ему пальцем и уплыла за занавеску. Я мысленно поставила Нюте пятёрку.

* * *

Пора было переходить к главному.

У моей ноги, под столом, стояла школьная грифельная доска в деревянной рамке. Я принесла её в саквояже, и перед сеансом все её осмотрели: чистая, с обеих сторон. Чистой она, конечно, не была. На одной стороне мелом было написано «ПЕЧЬ В СПАЛЬНЕ. ТРЕТИЙ ИЗРАЗЕЦ СНИЗУ», а поверх лежала тонкая накладка из картона, обтянутого грифельной бумагой. Достаточно поднять доску и уронить накладку под стол, и дух Саввы Никаноровича сам укажет вдове, где спрятаны деньги.

Насчёт печи я не гадала. Тот же Фёдор вспомнил, что за неделю до смерти покойный зачем-то позвал печника и велел переложить изразцы в спальне. Печника он потом угостил так щедро, что тот три дня не мог вспомнить, где живёт. Четыре тысячи на дороге не валяются, и если Аркадий Петрович найдёт их первым, Аграфена Тимофеевна их больше

не увидит. Глупая, жадная и хвастливая женщина. Но деньги были её.

Не думайте, что я святая. Двадцать пять рублей я тоже взяла.

— Дух, — сказала я, — укажи, что ты оставил своей вдове.

Я наклонилась за доской.

И тут Сёмка постучал снова.

Знака я ему не подавала. Мы договорились, что два скребка ногтем по ножке стола означают «тихо». Я поскребла, хотя он и без того должен был молчать. Стук повторился.

Он шёл не из-за стены.

Он шёл из стола. Из толстой дубовой столешницы, прямо из-под моих ладоней. Будто кто-то сидел внутри дерева и бил в него снизу костяшками пальцев. Медленно. Раз. Два. Три.

Скатерть под моей левой рукой намокла.

Я подумала: самовар. Горничная пролила воду, когда убирала чашки. Я подумала: Аркадий Петрович. Принёс с собой какую-нибудь гадость, хочет меня напугать и выставить дурой. Я успела подумать ещё много разумных вещей, пока вода растекалась по скатерти. Она была холодная, как в Фонтанке в ноябре, и пахла тиной, рыбой и мокрым деревом. Так пахнет под мостами.

Свечи на пианино легли.

Оба огонька разом вытянулись длинными языками вбок, к окну, и так и остались, будто их придавили ладонью. Будто

за шторой кто-то открыл форточку и втянул в себя воздух.

Занавеска за моей спиной шевельнулась. Нюта высунула голову, без перчатки и без фосфора, с белым лицом, посмотрела на меня и быстро помотала головой.

Нет. Это не я.

— Ой, — тоненько сказала компаньонка. — Ой, мамочки. У меня ноги мокрые.

У меня тоже. Я этого не замечала, пока она не сказала. Вода стояла на паркете тонким слоем, холодная, и мои ботинки (левый я сняла ещё в начале, чтобы поддевать ножку стола пальцами, как делала знаменитая Эвзапия Палладино) были полны ею до краёв.

Я знаю сто способов облить зрителей водой в темноте. Знаю, где спрятать резиновую грушу, как провести трубку под ковром и как сделать, чтобы «эктоплазма» капала с потолка. Для этого нужна подготовка, сообщник и хотя бы ведро. Ведра в комнате не было. Сообщники у меня были, и они были напуганы сильнее всех.

— Это что, Савва? — громким шёпотом спросила вдова. — Саввушка, это ты?

Я подняла доску. Моя рука двигалась сама, по привычке, как рука карманника, который продолжает работу, даже когда его уже держат за воротник. Накладка соскользнула и шлёпнулась в воду под столом. Я повернула доску к свечам.

Моей надписи на ней не было.

Мел исчез, будто его смыли. Вместо него по чёрному гри-

фелю бежали буквы, написанные водой. Капли не стекали вниз, как положено каплям, а держались в линиях. Буквы были старые, угловатые, с хвостами и титлами, как на могильных плитах в Лавре:

ЧУЖОЕ ВОЗЬМЁШЬ — СВОИМ ОТДАШЬ.

Я смотрела на них, а они смотрели на меня. Иначе я этого описать не могу.

Олимпиада Тимофеевна сказала: «Господи помилуй» — сухо и деловито, как говорят «будьте здоровы». Капитан встал, опрокинул стул и снова сел. Аркадий Петрович молчал. Его пенсне блестело в темноте, и мне вдруг стало ясно, что это сделал не он. Человек, который приносит фонарь, чтобы поймать медиума, не умеет писать водой.

В соседней комнате, в спальне, что-то ударило. Тяжело, глухо, как бьёт по железу кувалда, обёрнутая мешковиной. Потом раздался звонкий треск, будто раскололась тарелка.

Сёмка завопил. Коротко, по-мальчишечьи, и сразу затих.

Я сорвалась с места первой. Цепь рук распалась, кто-то схватил меня за юбку, я выдернула её и, хлюпая одним ботинком и шлёпая чулком, бросилась к двери. Дверь в спальню была приоткрыта. Горела лампадка под образами, маленькая, красная, она не мигала. Сёмка стоял в углу, прижавшись к стене, с колотушкой в обеих руках, как с топором.

— Я ничего, — сказал он мне шёпотом. — Ей-богу, Галка Ильинична. Это она сама.

Изразцовая печь в углу спальни была белая, с синими гол-

ландскими мельницами. Третий изразец снизу лежал на полу, расколотый пополам. Из чёрного провала за ним торчал угол толстого пакета в клеёнке.

Пахло тиной.

* * *

Потом было много шума.

Вдова плакала, потом смеялась, потом снова плакала, обнимая пакет. Там было ровно четыре тысячи: облигации и пачка «катенек», перевязанная бечёвкой. Олимпиада Тимофеевна принесла валерьянки, на запах сбежалась кухарка, кухарка тоже выпила валерьянки. Капитан ходил по гостиной с лампой, освещал углы и повторял: «Однако. Однако». Компаньонка рассказывала горничной, что видела в окне лицо, «вот такое, белое, без бровей». Окно было на втором этаже, а лица в нём никакого не было, но через неделю об этом будет говорить половина Загородного. Через месяц к Пуховым начнут водить экскурсии.

Воды на полу больше не было.

Я сама проверила. Опустилась на колени у стола, будто искала шпильку, и провела ладонью по паркету. Сухо. Скатерть тоже была сухая, только кое-где на ней остались маленькие бурые пятна, как от чая. Мой левый ботинок стоял под столом, и внутри у него было сухо, как в Сахаре. Чулок тоже высох. Подол юбки тоже.

Грифельная доска лежала там, где я её бросила. Она была чистой. Ни мела, ни воды, ни букв.

Под платком в клетке запела канарейка. Весь сеанс она молчала, а теперь заливалась так, будто наступила весна.

— Пятьдесят! — Аграфена Тимофеевна совала мне в руку бумажки. — Голубушка! Мадам Сибилла! Пятьдесят и вот ещё сверху, и не спорьте! Я Шмидтихе расскажу, пусть она со своим Наполеоном…

Я не спорила. Обманщице, которая отказывается от денег, никто не поверит.

В прихожей меня догнал Аркадий Петрович. Остальные остались в гостиной, и мы были одни. От него пахло помадой для волос и злостью.

— Я знаю, что это вы, — сказал он тихо. — Не знаю как. Но знаю.

Вот тогда я и сделала глупость. Сейчас я понимаю, что глупость, а тогда меня трясло, и мне было нужно, чтобы хоть кто-нибудь в этой квартире чего-то не понимал больше, чем я.

Я открыла сумочку, достала батарейку от его фонаря и вложила ему в ладонь.

— Вы обронили, — сказала я. — Ещё в прихожей.

Он посмотрел на батарейку, потом на меня. Я видела, как у него в голове складывается картина: эта женщина вытащила у меня из кармана батарейку, значит, она обманщица. Тогда кто был в спальне? Кто расколол изразец, кто писал водой? Эта картина не сложится у него до конца жизни. Мне стало его почти жаль.

Почти.

* * *

Нюта ждала меня на лестнице. Она уже переоделась в своё, в короткий жакетик и шапочку с пером, а цирковые трико и перчатку свернула в свёрток и сунула под мышку. Сёмка стоял рядом. Колотушку он так и не выпустил.

— Это была не я, — сказала Нюта вместо приветствия.

— Знаю.

— Я руки на коленях держала. Сидела в своём углу, как мышь. А потом мне в спину дунули. Холодом. Галка, у меня в кабинете стены не было, только шкаф. Кто мне мог дунуть в спину из шкафа?

— Сквозняк, — сказала я.

— Иди ты к чёрту со своим сквозняком.

— Пойдёмте отсюда, — сказал Сёмка. — Не нравится мне здесь.

Лестница у Пуховых была парадная, широкая, с чугунными перилами и газовым рожком на каждой площадке. Рожки горели синим, ровно шипя. Мы спустились на один пролёт, и тут Сёмка, который шёл первым, остановился так резко, что я наступила ему на пятку.

— Галка Ильинична, — сказал он, — а это чьи?

На каменных ступенях темнели следы.

Мокрые, будто кто-то только что вышел из воды и прошёл здесь босиком. Узкие, длинные, гораздо длиннее моей стопы. Между отпечатками пальцев виднелись тонкие мокрые

перепонки, как у лягушки или у гуся. Пальцев на каждой ноге было четыре.

Я оглянулась. Следы начинались у двери Пуховых, прямо у порога, на кокосовом коврике с надписью «Добро пожаловать».

И вели они не вниз, к выходу.

Они вели вверх, к чердаку. Ступень за ступенью, мимо третьего этажа, где жил капитан, мимо четвёртого, в темноту под самой крышей, где газа уже не было.

— Это ж не по-людски, — прошептал Сёмка.

— Не по-людски, — согласилась Нюта. Голос у неё стал сиплым.

Мы стояли и слушали. Наверху было тихо. Капала вода, медленно, по одной капле, будто кто-то стоял на последней площадке, мокрый, и ждал, пока стечёт.

Наверх я не пошла. Живой фокусник от мёртвого отличается одним: живой знает, когда пора уходить со сцены.

— Вниз, — сказала я. — Быстро и не оглядываясь.

Оглянулась я всего один раз, уже у двери на улицу. Наверху ничего не было, только синий газовый язычок на площадке третьего этажа. Он не шипел. Он лежал на боку, вытянувшись к чердаку, точно так же, как свечи на пианино.

* * *

На Загородном шёл мелкий дождь, тот петербургский дождь, который не падает, а висит в воздухе, и ты сам в него входишь, как в паутину. Фонари стояли каждый в своём

ореоле. По торцовой мостовой простучал извозчик, проехал, обдав меня брызгами, моторный экипаж с жёлтыми фарами. Где-то у Пяти углов звенел трамвай. Обычный город. Электричество, газеты, полиция. Двадцатый век на дворе, тринадцатый его год.

Я стояла под дождём, пока у меня не перестали дрожать колени, и придумывала объяснения.

Воду можно было пролить заранее и прикрыть скатерть клеёнкой. Буквы — фосфорный раствор, или химические чернила, которые проступают от влаги, а потом исчезают. Печь кто-то расшатал днём, ещё до нас, и изразец выпал от стука. Следы… следы на лестнице кто-то сделал, чтобы меня напугать. Конкуренты. Тот самый парижанин Шмидтов, например.

Объяснения выходили хорошие, гладкие. Я сама их не любила: по опыту знала, что гладкие объяснения обычно придумывают для дураков.

— Ты белая, как простыня, — сказала Нюта.

— Ты тоже.

— Я всегда белая. Я рыжая.

У тротуара стояла пролётка, и с её подножки соскочил человек в студенческой фуражке и шинели нараспашку. Я узнала его раньше, чем он подошёл: по походке, по тому, как он вечно сутулился, будто извиняясь за свой рост. Я узнала бы его в любой толпе, в любой темноте, хоть с завязанными глазами. Я вырастила его почти одна.

— Костя? Ты что здесь делаешь? Ты же должен быть…

— Галка, — сказал мой брат.

Он стоял под фонарём, и я увидела его лицо. Красивое, тонкое, мамино, с отцовской ямочкой на подбородке. На скулах горели два пятна, как у чахоточного. Глаза блестели. Он был мокрый, будто шёл пешком через весь город, хотя приехал на извозчике.

— Галка, у меня беда, — сказал он. — Большая беда. Только ты не кричи.

Я не закричала. Я вообще разучилась кричать лет в девятнадцать, когда пришлось одной хоронить отца.

— Сколько? — спросила я.

Он даже не стал притворяться, что не понимает. Это было хуже всего.

— Две тысячи четыреста.

Нюта охнула и уронила свёрток. Сёмка присвистнул. А я подумала о пятидесяти рублях в сумочке, которые только что казались мне целым состоянием, и о том, что за пятьдесят рублей можно снять комнату на полгода, а за две тысячи четыреста — купить дом в Царском Селе.

— Где? — спросила я.

— В «Дюжине». На Екатерининском. У сестёр Лихомановых.

— Сколько у нас времени?

— До среды. — Он сглотнул. — До первого ноября. Галка, они сказали… Старшая, Огнея Тихоновна, сказала, что

они не берут векселей и не ходят к приставу. Сказала, что если денег не будет, они возьмут, как она выразилась, по-старому. Я не понял, что она имела в виду. А она засмеялась и потрогала меня за щёку. Вот здесь.

Он коснулся пальцами скулы, там, где горело красное пятно.

— У неё рука была такая горячая, Галка. Как кочерга из печки. Я с тех пор согреться не могу. Второй день трясёт.

Дождь висел в воздухе. Где-то у Пяти углов снова прозвенел трамвай. Я взяла брата за руку, и рука у него горела, как у больного в тифозном бараке.

А на мокром тротуаре, у самых его ботинок, медленно высыхал след. Узкий, длинный, с перепонками между пальцами. Ведущий к нам.

Глава 2. В этом доме часы не врут

Сусальное золото не терпит дыхания.

Отец объяснил мне это, когда мне было семь лет. Я подошла слишком близко к его рабочему столу, выдохнула от восторга, и тончайший золотой лист, который он только что поднял беличьей кистью-флейцем, взлетел, сложился и прилип к моему носу. Отец смеялся так, что уронил очки в банку с клеем. Потом сказал: «Галка, золото — как удача. Подходи к нему, не дыша, и не хватай руками».

С тех пор, когда я золочу, я задерживаю дыхание. Это успокаивает лучше валерьянки.

В пятницу, 27 октября, в восемь утра, после ночи, в которой я не спала ни минуты, я сидела в задней комнате лавки Ремера на Литейном. Передо мной лежала рама от зеркала времён Елизаветы Петровны, вся в рокайльных завитках, раковинах и гирляндах, с осыпавшейся местами позолотой. Владелец, тайный советник, хотел, чтобы рама выглядела старой, но не облезлой. Это самая трудная работа, какая бывает. Сделать новое легко. Сделать старое так, чтобы оно было живым, а не дряхлым, могут немногие.

Я могла. Это я умела лучше всего на свете, даже лучше, чем говорить голосом мёртвых купцов.

Я нанесла кисточкой полимент на завиток, подождала, пока он схватится, положила на него лист, прижала ватным

тампоном и выдохнула. Взяла агатовый гладилок и начала полировать. Под камнем золото оживало, начинало светиться изнутри мягким масляным светом, как светятся окна в чужом доме, когда идёшь мимо зимним вечером.

Руки делали своё. В голове крутилось одно и то же, как стёклышки в калейдоскопе: две тысячи четыреста, среда, горячая ладонь на щеке у Кости. Вода. Старые буквы на грифельной доске. Следы с четырьмя пальцами.

Костя спал у меня в комнате на Песках, на моей кровати, укрытый двумя одеялами и отцовской шубой. Под утро его перестало трясти, и он заснул внезапно, на полуслове, как засыпают дети. Я сидела рядом до рассвета и слушала, как он дышит, а под окном дворник скрёб лопатой мокрые листья. Раз за разом я трогала его лоб. Жар у него был странный, пятнами: у виска горело, а над бровью кожа была холодная, как у покойника.

Я так и не решила, во что верю. Во всяком случае, не в то, что Костю нужно вести к доктору.

* * *

— У тебя гладилок трясётся, — сказал Ремер у меня за спиной.

Платон Карлович Ремер умеет ходить бесшумно. Для человека его роста, а в нём два аршина и десять вершков, это удивительно. Он вечно сутулился под низкими притолоками своей лавки и смотрел на мир поверх двух пар очков сразу, одни для дали, другие для близи. Он был из остзейских

немцев, сын пастора, и говорил по-русски чище любого петербуржца, только иногда ставил ударения так, как ставили при Николае Первом. С моим отцом он дружил тридцать лет. После похорон он взял меня к себе в мастерскую: без рекомендаций, без диплома Штиглицкого училища, девятнадцатилетнюю дуру, которая умела только золотить, вскрывать замки и показывать фокусы с монетками.

Он был единственным человеком в городе, кроме Кости, кому я верила. Сейчас я понимаю, что зря. Тогда я этого не знала.

— Не трясётся, — сказала я.

— Трясётся. Ты пережгла полимент на третьем завитке, он теперь будет темнее остальных. Ты не спала.

— Не спала.

— Константин?

Я не ответила. Ремер вздохнул, снял очки для дали, протёр их платком, снова надел. Это означало, что разговор будет долгим. Он придвинул себе табурет, сел напротив, на освещённую сторону стола, сложил длинные пальцы домиком и посмотрел на меня поверх очков для близи.

— Сколько?

— Две тысячи четыреста. — Говорить это вслух было ещё хуже. — В «Дюжине».

Ремер медленно кивнул, будто я подтвердила то, что он и так знал.

— У Лихомановых. — Сказал он это странным тоном. —

Плохое место, Галочка. Очень плохое место. Твой отец туда не ходил. Говорил, что сёстры… — Он замолчал.

— Что сёстры?

— Неважно. — Он снял очки для близи. — Ты знаешь, что у меня таких денег нет. Будь они у меня, я бы отдал. Лавка заложена с прошлой весны, ты это видела по книгам.

— Знаю. Я не прошу.

— Знаю, что не просишь. Ты никогда ничего не просишь. Это у тебя от него. — Он помолчал. — Но у меня, кажется, есть для тебя работа.

* * *

Работ, как выяснилось, было две, и одна пряталась внутри другой, как кукла внутри куклы.

Первая была чистая. Граф Северин Аркадьевич Ладожский, проживающий в собственном доме на Мойке, у Новой Голландии, искал реставратора, чтобы привести в порядок старинный шкаф-реликварий. Шкаф, по словам графа, пострадал от воды в прошлом месяце.

— В сентябре было наводнение? — спросила я.

— Небольшое. Вода в Неве поднялась на шесть футов, Галерную подтопило, на Мойке — ничего особенного. — Ремер постучал пальцем по столу. — Особняк Ладожских стоит высоко. Подвалы сухие, я там бывал при старом графе. А вода в шкафу была. Изнутри. Будто его наполнили, как аквариум, а потом вылили. Граф писал, что «вода пришла снизу и ушла вниз». Именно так, этими словами. Странный вы-

бор слов для человека, который пишет по-французски лучше, чем по-русски.

— А почему ко мне?

— Потому что граф просил мастера, который «умеет держать язык за зубами и не боится старых вещей». И ещё… — Ремер достал из кармана жилета сложенный листок и прочитал: — «Предпочтительно, чтобы мастер не был мужчиной. Мужчины в этом доме долго не задерживаются».

— Очаровательно.

— Я тоже так подумал. Сорок рублей в неделю. Работы, полагаю, недели на две, может, на три.

Восемьдесят рублей. Сто двадцать. Мне нужно было две тысячи четыреста к среде. Я положила гладилок и посмотрела на Ремера.

— А вторая работа?

Ремер долго молчал. Потом встал, подошёл к двери в торговый зал, выглянул, притворил её поплотнее, хотя в лавке не было никого, кроме кота Вильгельма, спавшего на кресле работы Гамбса. Вернулся. Сел.

— Вчера, — сказал он, — пока ты была у Пуховых, ко мне приходила дама. Под вуалью, в хорошем платье, но старом, позапрошлого сезона, такие давно не шьют. Перчатки лайковые, на правой перчатке шов распоролся у большого пальца. Духи фиалковые, брокаровские, но под ними… — он поморщился, — под ними пахло речной водой. Как от тех, кто долго стоит на набережной в тумане.

— Ты прямо Шерлок Холмс.

— Твой отец так шутил. — Ремер не улыбнулся. — Она знала, что граф пригласит реставратора, и знала, что приглашение пришлют мне. Сказала, что в реликварии Ладожских хранится фамильная печать. Серебряная, длиной в четверть, с цаплей на конце рукояти. В клюве у цапли кольцо. Если эта печать окажется у неё до ледостава на Неве, она заплатит три тысячи рублей. Половину вперёд.

В мастерской было тихо. Слышно было, как на Литейном прогромыхал ломовик и выругался ломовой. Кот в зале перевернулся на другой бок.

— Три тысячи, — повторила я.

— Полторы вперёд. Деньги она оставила. — Ремер выдвинул ящик стола, где он хранил наждачную бумагу и пробки, и положил передо мной плотный конверт без надписей. — Сказала, что если мы откажемся, конверт можно будет вернуть. Через неделю она за ним зайдёт.

Я не потянулась к конверту. Сидела и смотрела на него, как на змею, которая свернулась на солнышке и притворяется ремнём.

— Ты понимаешь, о чём она просит, — сказала я.

— Я старый человек, Галочка. Я всё понимаю, и я в этом не участвую. Я ничего не знаю, конверт мне подбросили. — Он развёл руками. — Но ты взрослая. А Константину нужно две тысячи четыреста к среде.

— Я не воровка, — сказала я.

Это правило было у меня всегда. Я обманщица, иллюзионистка, медиум, как угодно. Я беру деньги у людей, которые сами хотят, чтобы их обманули, и даю им то, за чем они пришли: голос покойного мужа, утешение, страх, развлечение. Это честная сделка, хоть и нечестная работа. Воровать — значит отнимать у человека то, чем он не собирался делиться. Отец никогда не воровал. Отец говорил: «Мы не берём, Галка. Мы показываем».

— Не воровка, — согласился Ремер. — Конечно.

Он смотрел на меня поверх очков. Я смотрела на конверт.

Я вспомнила, как у Кости горела скула под пальцами. Как он сказал: «Возьмут по-старому». Как он второй день не может согреться.

— Что ты знаешь о Ладожских? — спросила я.

* * *

О Ладожских Ремер знал немного, а в городе болтали много.

Старый граф, Аркадий Ингварович, умер шесть лет назад. Он был нелюдим и чудаковат, собирал часы и водяные знаки, никогда не выезжал зимой и, говорят, не пил чаю, потому что не доверял кипятку. Детей у него было двое. Дочь Вера, двадцати шести лет, жила то в Ницце, то в Петербурге, и о ней говорили всё, что обычно говорят о незамужних барышнях с деньгами. Сын, нынешний граф, Северин Аркадьевич, тридцати одного года. Служил когда-то в лейб-гвардии, вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. Три года на-

зад его невеста, княжна Лидия Озерецкая, утонула за неделю до свадьбы. Купалась ночью в Неве, в июне, у Стрелки, хотя плавать не умела. Тело нашли только через месяц, у Кронштадта. С тех пор граф почти не выезжает. Гостей не принимает. Прислуга у него, кроме нескольких стариков, меняется каждые полгода. Девушки, которых нанимают горничными, уходят, говорят, «в слезах и без жалованья».

— Он их бьёт? — спросила я.

— Не думаю. Одна рассказывала в лавке на Сенной, что граф ночами сидит в ванной и разговаривает. С кем, она не знала. Ей ответил женский голос из водопроводной трубы.

— Пьёт, — сказала я.

— Возможно, — сказал Ремер, тем самым тоном, которым говорят «нет».

Он встал, давая понять, что разговор окончен. У двери обернулся.

— Галочка. Я должен сказать тебе одну вещь, а ты, пожалуйста, не смейся. Ладожские — люди старой воды. Так говорил твой отец. Я не знаю, что это значит, а он не объяснял. Только однажды, когда работал у старого графа, он вернулся домой поздно и долго мыл руки. Тёр щёткой, пока не пошла кровь. А потом сказал мне: «Платон, есть вещи, которые лучше не открывать, даже если ты знаешь, как это сделать».

Он вышел. Через минуту я услышала, как в зале звякнул колокольчик на двери и Ремер сказал кому-то своим лавочным голосом: «Доброго утра, сударыня, чем могу служить?»

Я сидела перед конвертом.

Есть вещи, которые лучше не открывать, даже если знаешь как.

Про меня отец ничего такого не говорил. Про меня он говорил: «Галка тащит в гнездо всё, что блестит».

Я взяла конверт. Он был тяжёлый, плотный и пах фиалками.

* * *

Особняк Ладожских стоял на набережной Мойки, там, где река изгибается перед Новой Голландией, а за красной кирпичной аркой стоит тёмная вода. Здесь всегда тише, чем в остальном городе. Трамваи сюда не ходят, барки с дровами проходят медленно, будто на цыпочках, и туман держится до полудня даже тогда, когда на Невском уже светит солнце.

Дом был серый, гранитный внизу и оштукатуренный наверху. Три этажа, фронтон с гербом, высокие окна, почти все закрыты ставнями изнутри. Над воротами сидела каменная цапля и держала в клюве чугунное кольцо, будто собиралась постучать им в небо. Над крышей торчала башенка с часами. Часы показывали без двух минут одиннадцать, ровно столько же, сколько мои, которые я сверила с пушкой в полдень накануне.

Я пришла заранее, потому что приходить вовремя — это для честных людей. Аферисту нужно минут пятнадцать, чтобы посмотреть, откуда приходят и куда уходят, где чёрный ход, какие окна на первом этаже без решёток и куда смотрит

дворник.

Дворника не было, и это было странно. Дворник у петербургского дома есть всегда, как у собаки хвост. Чёрный ход выходил во двор, двор был глухой, с колодцем посередине. Колодец был забит досками и обмотан цепью, а цепь заржавела так, что казалась частью дерева. Окна первого этажа без решёток, но ставни в них дубовые, с железными полосами. Водосточная труба у угла крепкая, на добрых костылях, до второго этажа долезть можно, и Нюта долезет, даже не запыхавшись.

Я поймала себя на том, что считаю окна, как вор, и мне стало противно. Не настолько, чтобы перестать считать.

Без одной минуты одиннадцать я поднялась на крыльцо и потянула за медную ручку звонка. В глубине дома звякнул колокольчик, далеко-далеко, будто на дне колодца.

Дверь открыл старик.

Таких стариков больше не делают. Он был маленький, мне по плечо, в ливрее, которая вышла из моды ещё при Александре Втором: тёмно-зелёной, с медными пуговицами в виде цапель, с позументом, протёртым до ниток на локтях. Сапоги начищены так, что в них отражалось небо. Борода седая, широкая, лопатой, как у Саввы Никаноровича на портрете, только гуще. Глаза маленькие, глубоко посаженные, тёмные, блестящие, как две капли дёгтя. Лицо морщинистое и смуглое, будто его много лет коптили у печки.

Он стоял в дверях и молчал. Потом подался вперёд и шум-

но втянул воздух носом. Обнюхал меня, проще говоря, с головы до ног. Так собаки обнюхивают чужого. Как ни странно, это было не обидно, а жутко.

— Аглая Ильинична Сомова, — сказала я. — Реставратор. От Ремера. Граф ждёт меня к одиннадцати.

Старик снова принюхался, на этот раз к моим рукам. К правой, которой я брала конверт.

— Фиялкой пахнет, — сказал он. Голос у него был низкий, глухой, будто шёл из печной трубы. — И тиной. И ещё — мёдом с полынью. Ишь ты.

— Простите?

— Милости просим, — сказал старик и посторонился. — Тихоном меня звать. Барин ждёт. Ноги вытирайте, хозяюшка. У нас полы вощёные, Тихон их сам вощит, никому не доверяет.

Я вытерла ноги. Он закрыл за мной дверь, и в эту секунду часы начали бить.

* * *

Они били везде.

В вестибюле стояли высокие напольные часы английской работы, в футляре красного дерева. Справа, на лестнице, висели круглые часы в позолоченной раме. Слева, на камине, — фарфоровые, с пастушками. Из коридора, из комнат наверху, из подвала, из-за каждой двери, отовсюду неслось: бом, бом, бом. Басовито и звонко, хрипло и мелодично, с курантами и без. Одиннадцать ударов. Каждый удар у всех ча-

сов совпадал точно, до доли секунды, будто бил один огромный механизм, спрятанный в стенах дома.

Я реставрировала часы. Часы спешат, отстают, капризничают, как старые актрисы. Двое часов в одной комнате никогда не бьют одновременно, хоть ты их неделю сверяй. А тут били десятки, и все разом.

Одиннадцатый удар умолк. В доме стало так тихо, что я услышала, как у меня в ушах шумит кровь.

— Барин часы любит, — сказал Тихон у меня за спиной. — И барин покойный любил, и дед его. У нас часы не врут, хозяюшка. Ни на минуточку.

Он повёл меня через вестибюль к лестнице. Я шла и смотрела по сторонам, как смотрят в чужом доме, где собираются что-нибудь взять: запоминала. Вестибюль был мраморный, холодный. Наверх вела лестница с чугунными перилами в виде камышей. Окна высокие, ставни закрыты, свет только от ламп. Лампы были электрические, новые, а пахло в доме, как в старой церкви: воском, сыростью и пылью, которую никто не трогал лет сто. На стенах висели портреты. Мужчины в камзолах, в мундирах, во фраках. Все бледные, все с одинаковыми глазами: светлыми, почти прозрачными, как вода в проруби.

Чего-то в этом доме не хватало. Я поняла чего, только когда мы поднялись на второй этаж. В простенке между окнами, где в любом приличном петербургском доме висит зеркало в золочёной раме, на обоях темнел прямоугольник. Обои

там выцвели меньше, а посередине торчал крюк. Зеркала не было. В следующем простенке тоже. И на площадке. И над камином в гостиной, мимо которой мы прошли.

В этом доме не было ни одного зеркала.

— Сюда, хозяюшка, — сказал Тихон и толкнул тяжёлую дубовую дверь.

* * *

Библиотека Ладожских была длинной комнатой в три окна, со шкафами до самого потолка. Под потолком шла галерея с перилами, а к ней поднималась винтовая лесенка. Пахло старой кожей, бумагой и дымом от камина. В камине горели берёзовые поленья, но теплее от этого не становилось, и я сразу пожалела, что сняла в передней пальто. У окна стоял письменный стол, заваленный бумагами, а на нём — ещё одни часы, бронзовые, с маятником в виде серпа луны.

За столом сидел человек и писал. Он не поднял головы.

— Вы опоздали, госпожа Сомова, — сказал он. — На четыре минуты.

— Я позвонила в дверь без одной минуты одиннадцать, ваше сиятельство.

— Вы стояли на набережной с без четверти одиннадцать. — Он дописал строчку, промокнул её пресс-папье и только тогда поднял голову. — Потом обошли дом по Крюкову каналу и заглянули во двор. Посчитали окна первого этажа. Долго смотрели на водосточную трубу. В этом доме часы не врут, госпожа Сомова, и я тоже стараюсь не врать. Вы опоз-

дали на четыре минуты.

Граф Северин Ладожский был совсем не похож на то, что я себе представляла.

Я ждала одного из двух. Либо болезненного затворника в халате, с запавшими глазами и графином на столе. Либо красивого байронического героя с шёлковым шейным платком и печалью во взоре, какими их рисуют на обложках выпусков «Нового журнала для всех». Передо мной сидел некто третий. Высокий, худой, очень прямой, как бывают прямыми бывшие военные. Тёмные волосы коротко острижены. У правого виска — седая прядь, широкая, будто кто-то провёл по голове кистью с белилами. Лицо узкое, некрасивое, умное. Резкий нос, тонкие губы. Одет он был в простой тёмный сюртук без всяких украшений. На руках — тонкие замшевые перчатки серого цвета, хотя он сидел в собственном кабинете и писал.

А глаза у него были те же, что у всех портретов на лестнице. Светлые. Почти бесцветные. Как вода в проруби, когда смотришь в неё и не видишь дна.

Я встречала много людей, которые хотели меня разоблачить. С ними легко. Они хотят, чтобы ты ошиблась, и смотрят на тебя так пристально, что сами не замечают, как ты вынимаешь батарейку из их фонаря. Этот человек не хотел меня разоблачить. Он смотрел на меня так, как я сама смотрю на старую вещь, которую принесли в лавку: внимательно, без злобы и без восторга, прикидывая, где подделка, где поздняя

правка, а где подлинник.

Мне это не понравилось. Мне это очень не понравилось.

— Я всегда осматриваю дом, прежде чем войти, ваше сиятельство, — сказала я. — Профессиональная привычка. Нужно знать, откуда дует, где сырость и где кухня. От этого зависит, как сохнут лаки и как держится позолота. Если вы хотите, чтобы я работала, а не пила с вами чай, мне нужно знать, где у вас сыро.

— Вода в моём доме — моя забота, — сказал граф. — Ваша — реликварий. Подойдите.

Я подошла. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда маленький предмет и положил на сукно передо мной.

Это была табакерка. Золотая, овальная, в половину ладони. Крышка покрыта прозрачной эмалью цвета морской волны, а под эмалью гильоше — тонкий узор из волнистых линий, расходящихся от центра, как круги по воде. В центре бриллиантовая монограмма под короной. Красивая вещь, настоящая игрушка для богатых.

— Мой отец заплатил за это три тысячи рублей, — сказал граф. — Сколько бы вы заплатили, госпожа Сомова?

Я не стала брать табакерку сразу. Сначала посмотрела на неё сверху, потом сбоку, против света от окна. Потом сняла перчатку, тоже не сразу, пальчик за пальчиком, как снимают актрисы. Мне нужно было время. Я взяла табакерку. Она была тяжёлая. Золото настоящее, это я чувствовала кожей. Повернула. На донышке было клеймо: «Fabergé».

— Рублей сто, — сказала я. — Может быть, сто двадцать. За золото и камни.

Граф чуть приподнял бровь.

— Почему?

— Потому что это подделка, ваше сиятельство. Очень хорошая, но подделка. Гильоше на Фаберже делают на станке, и линии у них ровные, как струны. А здесь их вырезали вручную. Посмотрите против света: они плывут, как почерк у человека, который писал на подоконнике в поезде. И клеймо латиницей. Латиницей Фаберже клеймит только то, что идёт в лондонское отделение. В Петербурге вещь с таким клеймом и с русской пробой — это как француз, который поёт «Боже, царя храни» с вологодским выговором. Кто-то очень старался. Не знаю, где сделано. Я бы сказала, в Варшаве.

Я положила табакерку на сукно. Пальцы у меня не дрожали, и я этим гордилась.

Граф смотрел на меня. Потом он сделал нечто неожиданное: улыбнулся. Улыбка вышла неуверенная, будто он давно ею не пользовался и разучился: правый угол рта поднялся, левый так и остался на месте. Лицо от неё не стало добрее. Оно стало моложе.

— В Варшаве, — сказал он. — На Налевках, в мастерской Соломона Гольдфарба. Отец купил её, зная, что это подделка, за триста рублей, потому что ему понравилось, как сделана волна. Он говорил, что подделка, которая лучше оригинала, — это уже не ложь, а мнение. Вы первая, кто заметил

за двенадцать лет. Ремер не заметил.

— Ремер плохо видит без второй пары очков.

— Ремер прекрасно видит. — Граф убрал табакерку в ящик. — Он просто не смотрит. А вы смотрите. Вы ведь привыкли смотреть очень внимательно, госпожа Сомова. Профессия обязывает. Обе профессии.

Он встал. Я и не заметила, как близко он оказался, высокий, на голову выше меня. От него пахло холодом. Не одеколоном, а именно холодом, как пахнет на набережной в ноябре, когда ветер с залива.

— Вчера, — сказал граф Ладожский, — на Загородном проспекте, в квартире купеческой вдовы Пуховой, мадам Сибилла беседовала с покойным Саввой Никаноровичем. По слухам, весьма удачно. Сегодня утром весь Загородный только об этом и говорит. Купчиха нашла деньги. Капитан видел лицо в окне. Кухарка дала зарок больше не пить.

— Вы хорошо осведомлены для человека, который не выезжает.

— Мне рассказали.

— Кто?

Он не ответил. Посмотрел на меня сверху вниз, долго, как смотрят на часы, которые вдруг пошли сами, и я вдруг вспомнила свечи, которые легли набок, и следы с четырьмя пальцами, ведущие вверх по лестнице.

— Советую вам, госпожа Сомова, — сказал он очень тихо, — больше не разговаривать с мёртвыми. В этом городе им и

без вас тесно. Иногда они отвечают. И то, что они отвечают, лучше слушать.

Мне стало жарко и холодно одновременно, как Косте.

Он не мог этого знать. Никто, кроме меня, Нюты и Сёмки, не видел той доски. Чужое возьмёшь — своим отдашь. Пуховы видели воду, видели изразец, слышали стук. Буквы видела только я. Через минуту доска была чистой.

— Пойдёмте, — сказал граф. — Я покажу вам работу.

* * *

Реликварий стоял в соседней комнате. Она была маленькая, восьмиугольная, без окон, с куполом вместо потолка, расписанным облаками и звёздами. Света от единственной лампы на стене было мало, и нарисованные звёзды казались настоящими.

Шкаф занимал всю дальнюю стену. Я видела много старой мебели, но такой не видела никогда. Тёмный дуб, почти чёрный от времени, тяжёлый, как надгробие. Створки резные, со стёклами в свинцовых переплётах. Резьба странная, не барочная и не готическая, древнее и проще. Камыш. Рыбы. Волны. Цапли, стоящие на одной ноге. Женские лица с закрытыми глазами, как у утопленниц, и волосы у них переходят в водоросли. По карнизу шла надпись, вырезанная в дереве. Буквы похожи на славянские, но я не могла их прочесть.

Дерево вздулось от воды. Местами лак пошёл белыми пятнами, как бельмами. Позолота на цаплях облезла. Нижняя

полка треснула. Эту вещь явно когда-то очень долго держали под водой, а потом вынули, и она так и не поверила, что её вынули окончательно.

— Шестнадцатый век, — сказала я. — Может быть, раньше. Новгород? Или Швеция?

— И то и другое, — сказал граф. — Мой предок привёз его в Петербург, когда Петербурга ещё не было.

Это был странный ответ. Я хотела переспросить, но тут посмотрела сквозь мутное стекло на полки.

Там лежали вещи. Обычные вещи, какие бывают в любом семейном реликварии. Детские башмачки, расшитые жемчугом. Прядь волос в медальоне. Кинжал в ножнах из рыбьей кожи. Старинная книга в переплёте с медными застёжками. Нательный крест на почерневшей цепочке. Бальная перчатка, жёлтая от времени.

А на средней полке, на подушечке из выцветшего бархата, лежала серебряная печать.

Длиной в четверть. Тёмное, почти чёрное от старости серебро. Рукоять гладкая и толстая, с утолщением посередине, как у веретена, а на конце — цапля. Она стояла на одной ноге и держала в клюве кольцо. Лапа цапли упиралась в плоский овальный щиток с вырезанным на нём гербом.

Сердце у меня ни обо что не стукнулось и никуда не провалилось. Просто я почувствовала, как в кончиках пальцев стало тепло. Так бывает, когда ты наконец видишь вещь, о которой долго думала. Работа реставратора и работа вора в

эту минуту похожи до неприличия.

Я разглядывала её секунды три, ни мгновением дольше. Потом нарочно перевела взгляд на перчатку, на книгу, на крест. Человек, который смотрит на одну вещь слишком долго, выдаёт себя.

— Работы много, — сказала я деловито. — Корпус нужно сушить, медленно, не меньше недели, иначе он поведёт. Лак снимать. Позолоту восстанавливать. Нижнюю полку менять или клеить. Вещи на время работы надо вынуть.

— Вещи вынимать не нужно, — сказал граф.

— Мне так неудобно работать.

— Вам будет удобно. — Он стоял у меня за плечом. Я не слышала, как он подошёл. — Ключ от реликвария у меня, госпожа Сомова, и он будет у меня. Работать вы будете при мне или при Тихоне. Когда вам понадобится открыть створки, вы скажете, и вам откроют. Трогать можете всё. Смотреть, чистить, реставрировать. Всё, кроме одного.

Он поднял руку в серой замшевой перчатке и коснулся пальцем стекла. Против той полки, где лежала печать.

Стекло вокруг его пальца запотело. Изнутри. Будто в шкафу кто-то дышал.

— Кроме этого, — сказал граф Ладожский.

Ни «пожалуйста», ни «иначе» он к этому не прибавил. Просто смотрел на меня, без угрозы и без подозрения, с усталостью, такой глубокой, что мне на секунду захотелось сесть.

И ещё одно не давало мне покоя всю дорогу до Литейного.

Он смотрел на меня так, будто уже знал, чем всё кончится. Будто сам открыл мне дверь и ждал, когда я в неё войду.

Где-то в доме, во всех комнатах сразу, часы начали бить четверть двенадцатого.

Глава 3. Реликварий

Есть старое правило: если хочешь что-то украсть из дома, сначала проживи в нём три дня. В первый день дом тебя замечает. Во второй привыкает. На третий ты становишься мебелью, и тогда можно выносить хоть рояль.

Я провела в доме Ладожских три дня. Мебелью я так и не стала.

* * *

В субботу я пришла к восьми утра, с саквояжем инструментов и двумя бутылками скипидара. Тихон впустил меня, снова обнюхал (на этот раз быстро, для порядка, как городовой проверяет паспорт у знакомого дворника) и повёл в восьмиугольную комнату. По дороге часы пробили восемь. Все разом. Я уже почти не вздрагивала.

Работа началась со скучного, как всегда начинается настоящая работа. Корпус реликвария нужно было сушить. Медленно, при ровной температуре, без сквозняков и без печного жара, иначе дуб, который больше двухсот лет пролежал в воде, поведёт винтом, и резьба треснет по всем цаплям сразу. Я попросила принести жаровню с углями, поставила её в двух аршинах от шкафа, обложила створки войлоком, развесила по комнате мокрые простыни, чтобы воздух не пересыхал, и принялась ждать. Каждый час я проверяла дерево ладонью, как проверяют лоб больного ребёнка.

С Костей я делала то же самое. Утром он уже стоял на ногах, шутил, съел три яйца и ругал меня за то, что я не дала ему пойти на лекцию по сопротивлению материалов. Но когда я трогала его лоб, у меня внутри всё сжималось. Справа он горел, слева был холодный, как мрамор. Посередине проходила граница, ровная, будто по линейке. Ни один доктор такого не объяснит. Я и не стала звать доктора.

Тихон всё время сидел в углу на табурете. Неподвижный, в своей допотопной ливрее, сложив на коленях смуглые руки, он смотрел на меня маленькими дёгтяными глазами и не моргал. Через час это начало действовать мне на нервы. Через два я с ним заговорила.

— Вы давно служите у графа, Тихон?

— Давно, хозяюшка.

— Сколько лет?

Он подумал.

— А как дом поставили, так и служу.

Дом, насколько я знала, построили при Екатерине. Я решила, что старик шутит, и посмеялась. Тихон не смеялся. Он смотрел на жаровню с углями с таким нежным выражением, с каким бабушки смотрят на внуков.

— Почему вы зовёте меня хозяюшкой? Я здесь не хозяйка.

— Это как поглядеть, — сказал Тихон. И больше в тот день не сказал ни слова.

* * *

Граф заходил три раза. Каждый раз без стука, каждый раз неслышно. Я узнавала о нём по запаху холода, который входил в комнату раньше него, и по тому, что Тихон вставал с табурета.

В первый раз он остановился в дверях, посмотрел на простыни, развешанные, как в прачечной, на жаровню, на войлок и спросил:

— Это необходимо?

— Если хотите получить шкаф, а не дрова, — да.

— Я плачу вам сорок рублей в неделю за то, чтобы вы смотрели, как сохнет дерево?

— Вы платите мне сорок рублей в неделю за то, что я знаю, когда перестать смотреть, — сказала я. — Мастер, который вам не нужен, начал бы шкурить лак прямо сегодня. Через месяц вы бы позвали меня чинить то, что он сломал, и заплатили бы вдвое.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и ушёл, ничего не ответив. Тихон снова сел. Мне показалось, что борода у него подрагивает. Может быть, он смеялся.

Во второй раз граф принёс книгу. Он сел в кресло у стены, напротив реликвария, и читал, не поднимая головы, полтора часа. Я работала. Снимала мягкой кистью белёсый налёт с резьбы, разводила в фарфоровой чашке слабый раствор для пробы, проверяла позолоту на цаплях, отмечала мелом трещины. Он читал. Я ни разу не поймала его взгляд, но всё это время знала, что он на меня смотрит. Так чувствуешь сквоз-

няк спиной.

Книга была французская. Заглавия я не разглядела. Он переворачивал страницы, не снимая перчаток.

— Вы всегда носите перчатки в доме, ваше сиятельство? — спросила я, не оборачиваясь.

— А вы всегда задаёте нанимателю вопросы о его гардеробе, госпожа Сомова?

— Только тем, кто полтора часа смотрит мне в спину.

Страница перевернулась.

— У меня мёрзнут руки, — сказал граф.

— В комнате, где стоит жаровня?

— В любой комнате.

Он сказал это просто, без кокетства и без жалобы. Как говорят «у меня близорукость». Я обернулась. Он смотрел в книгу. Свет от лампы падал на седую прядь у виска, и она казалась не белой, а серебряной, как иней на чугунной решётке.

В третий раз он пришёл, когда мне понадобилось открыть шкаф.

* * *

Для этой минуты я весь день и работала, хотя себе в этом не признавалась.

Чтобы сушить корпус правильно, нужно открыть створки и проветрить внутренность. Я сказала об этом Тихону, Тихон куда-то ушёл, и через минуту в дверях появился граф. Он подошёл к шкафу, вынул из жилетного кармана часы на

цепочке (золотые, старые, луковицей), а вместе с ними ключ, который висел на той же цепочке. Ключ был железный, длинный, в ладонь, с тремя сложными бородками и головкой в виде кольца, которое держит в клюве цапля. Цапли в этом доме были везде, как мыши в амбаре.

Я встала рядом, будто ждала, когда можно будет приступить, и смотрела. Не на ключ, а на скважину, на то, как он его вставляет и в какую сторону поворачивает. Два оборота налево, потом, с нажимом, пол-оборота направо. Внутри дважды глухо щёлкнуло, потом что-то лязгнуло, как засов. Замок нюрнбергской работы, с ложной скважиной и двумя рядами сувальд. Отец показывал мне такие, когда мне было двенадцать. Он говорил, что нюрнбергские мастера делали замки для людей, которые боялись воров, и потому думали как воры. «Если хочешь открыть такой замок, Галка, думай как испуганный бюргер. Он прячет главное там, где страшнее всего».

Я прикинула, что мне понадобится минуты четыре. Шесть, если руки будут дрожать.

Граф распахнул створки. Изнутри пахнуло болотом: стоячей водой, гнилым тростником и ещё чем-то сладким, как пахнут увядшие кувшинки. Свет лампы упал на полки. Башмачки, медальон, кинжал, книга, крест, перчатка. И серебряная печать на выцветшем бархате.

Теперь я могла рассмотреть её как следует. Даже пожалуй, должна была: протереть полку под ней, проверить, не отсы-

рел ли бархат. Граф стоял рядом и смотрел, как я работаю. Я протирала полку, сантиметр за сантиметром, и смотрела на печать краем глаза, как смотрят на солнце.

Серебро было старое, плотное, тяжёлое на вид. Чернь въелась в каждую ложбинку. Цапля на конце рукояти работы отменной: видно каждое перо, а глаз — крошечная чёрная жемчужина. Сам щиток с гербом гладкий, затёртый, будто им тысячу раз прижимали горячий сургуч. А вот рукоять…

Рукоять была толще, чем нужно. Посередине у неё было утолщение, как у веретена, и по этому утолщению, по самой середине, шла тонкая, тоньше волоса, тёмная линия. Её можно было принять за царапину или за часть узора. Только линия была слишком ровная для царапины и слишком простая для узора. Я реставрирую серебро пятый год. Такую линию оставляет шов там, где одну часть вещи когда-то спаяли с другой. Или туда, где одна часть накручивается на другую.

Рукоять была полая.

Мне захотелось её открыть. Не украсть, а именно открыть, посмотреть, что внутри, понять, как сделан замок. Это желание было почти физическим, как зуд под гипсом. Отец называл это «чесоткой мастера». Говорил, что от неё не лечат, только ампутируют руки.

— Вас что-то заинтересовало? — спросил граф.

— Бархат, — сказала я и показала ему тёмное пятно на подушечке под печатью. — Плесень. Его нужно вынуть и просушить отдельно, иначе плесень перейдёт на серебро.

— Нет.

— Ваше сиятельство…

— Нет. — Он не повысил голоса. — Плесень на этом бархате с тысяча семьсот третьего года. Она никуда не перейдёт. Закончите с полками, госпожа Сомова. Я подожду.

Он подождал. Потом закрыл створки, два оборота налево, пол-оборота направо, и спрятал ключ вместе с часами в жилетный карман.

* * *

Вечером в субботу я сидела у себя на Песках. В кухне, при керосиновой лампе, собрался военный совет: я, Нюта, Сёмка и спящий за стенкой Костя.

— Три тысячи, — сказала Нюта, — это три тысячи. Ты знаешь, сколько это? Это я могу двадцать лет не залезать в шляпную картонку.

— Знаю, сколько это.

— Ну и? Чего ты сидишь с таким лицом, будто тебя заставляют есть мыло?

Я не знала, как объяснить. Что граф смотрел на меня так, будто знает, зачем я пришла. Что его камердинер называет меня хозяюшкой и, кажется, служит в этом доме сто пятьдесят лет. Что все часы в доме бьют одновременно. Что стекло запотело изнутри, когда граф коснулся его пальцем. Что я впервые в жизни боюсь вещи, которую собираюсь взять.

— Он меня подозревает, — сказала я наконец.

— Кто тебя не подозревает? — пожала плечами Нюта. —

Тебя все подозревают. У тебя лицо такое. Как у кошки возле сметаны.

— Галка Ильинична, — сказал Сёмка. Он сидел на подоконнике и жевал горбушку. — А вдруг он, граф этот, сам и есть тот, с перепонками?

— Не говори глупостей.

— А чего глупостей? Ты сама говорила, у него руки холодные и перчатки не снимает. Может, у него под перчатками перепонки. Как у гуся.

Нюта фыркнула. Я хотела засмеяться и не смогла.

— Дело не в нём, — сказала я. — Дело в Косте. Костя должен две тысячи четыреста к среде. У меня есть полторы от той дамы и мои сто восемьдесят. Сёстры Лихомановы частями не берут. Если в среду денег не будет…

Я замолчала. За стенкой застонал во сне Костя: тихо, жалобно, как маленьким, когда у него резались зубы.

Нюта посмотрела на стенку, потом на меня.

— Говори план, — сказала она.

* * *

План был простой, а простые планы — лучшие. Сложные планы составляют для того, чтобы рассказывать о них в мемуарах.

Сушка давала мне повод остаться в доме на ночь. Жаровню нельзя бросать без присмотра, угли надо подкладывать каждые два часа, иначе температура упадёт, и всё, что я сделала за день, пойдёт насмарку. Я скажу графу, что мне нужно

остаться в ночь на понедельник, а потом ещё в ночь на вторник. В первую ночь осмотрюсь. Во вторую возьму печать.

Восьмиугольная комната выходила дверью в библиотеку, а библиотека тремя окнами на Мойку. Под средним окном шёл узкий карниз, а в полутора аршинах левее проходила та самая водосточная труба на добрых костылях. Нюта поднимется по трубе к окну. Я открою замок, возьму печать, закрою замок, отдам печать Нюте в окно, закрою окно. Нюта спустится, и они с Сёмкой уйдут переулками к Никольскому рынку. Я останусь в доме и утром, как ни в чём не бывало, подложу угли в жаровню.

Если граф заметит пропажу, а он заметит, при мне ничего не найдут. Ни печати, ни отмычек: отмычки уйдут с Нютой вместе с печатью. Я буду возмущена. Я буду оскорблена. Я позову полицию сама. Полиция ничего не найдёт. Граф будет подозревать меня до конца жизни, но подозрение — не улика. Ремер получит от дамы под вуалью вторые полторы тысячи, Костя отдаст долг, и мы забудем о Ладожских, как о дурном сне.

— А если он не спит? — спросила Нюта. — Если он, как ты говоришь, ходит по дому, как кот?

— Тогда нужно знать, когда он не ходит.

* * *

Это я узнала в первую же ночь.

Граф разрешил мне остаться без всякого удивления, будто ждал этой просьбы. Тихон отвёл мне маленькую комнату

рядом с восьмиугольной, бывшую гардеробную, с узкой кушеткой, умывальником и, разумеется, без зеркала. Над кушеткой висел светлый прямоугольник на обоях. Я легла не раздеваясь. Каждые два часа вставала, подкладывала угли и слушала дом.

Старые дома по ночам разговаривают. Трещат половицы, вздыхают трубы, шуршат мыши за обоями, с улицы через ставни доносится цоканье извозчика и далёкий гудок парохода. Дом Ладожских молчал, как молчит человек, затаивший дыхание. Только часы били каждые четверть часа, все вместе. Звук катился по комнатам и уходил куда-то вниз, под пол.

В половине третьего я услышала воду.

Сначала тихо, где-то внизу, на первом этаже: шум, будто наполняют ванну. Потом шум прекратился, и стало слышно другое. Голоса.

Я встала, сняла ботинки и, держа их в руке, вышла в коридор. Половицы под ногами не скрипели, будто дом не возражал, чтобы я шла. Лестница была тёмная. Я спускалась, держась за чугунные камыши перил, и голоса становились громче. Один я узнала: низкий, сухой, ровный голос графа. Другой…

Другой был женский. Мелодичный, медленный, с длинными гласными, будто женщина поёт, а не говорит. И булькающий, как вода в трубе.

Дверь в ванную комнату на первом этаже была приоткры-

та. Оттуда падала на пол полоса жёлтого света. Я подошла сбоку, прижалась к стене и заглянула в щель.

Ванная была большая, старинная, облицованная зелёным изразцом. Посередине стояла медная ванна на львиных лапах, полная до краёв. Вода в ней была чёрная, как в Мойке ночью. На краю ванны сидел граф. Одетый, в сюртуке. Он закатал рукава до локтей и снял перчатки, они лежали рядом на полу. Его голые руки по запястья были опущены в воду. Кисти у него были длинные, худые, очень бледные. Мне показалось, что под водой они светятся, слабо, как светится гнилушка в лесу.

— Я знаю, — говорил он. — Знаю, что она пришла. Пусть.

Вода в ванне шевельнулась сама собой: по ней прошла медленная рябь, от его рук к краям. И из глубины, из чёрной воды, из водопроводной трубы, из стен донёсся тот самый женский голос, нараспев:

— Чужо-о-ое возьмё-ё-ёт… сво-о-оим отда-а-аст…

У меня похолодели ноги в одних чулках на каменном полу.

— Посмотрим, — сказал граф. — Сначала посмотрим, кто её прислал. Если Гриммель, то я хочу знать наверняка.

— Тепло-о-ая… — пропела вода. — Живая… Мёдом пахнет, полы-ы-ынью…

— Я знаю, чем она пахнет.

— Отда-а-ай…

— Нет.

Слово было короткое и твёрдое, как удар молотка. Вода в ванне вскипела без пара, без жара: тысячи мелких пузырьков поднялись со дна, будто кто-то внизу выдохнул. Граф не вынул рук. Он сидел ровно, и лицо у него было белое и спокойное, такое спокойное, какое бывает только у людей, которым очень больно.

— Нет, — повторил он тише. — Она не твоя. Пока не твоя. Уходи.

Пузыри улеглись. Рябь затихла. Вода стала гладкой, чёрной и неподвижной, как стекло.

Граф вынул руки. С пальцев капало, и капли падали на изразцовый пол неслышно. Он посмотрел на свои ладони, и я увидела, что кожа на кончиках пальцев у него сморщенная и белая, как у утопленника, который пролежал в воде неделю. Он натянул перчатки на мокрые руки.

Тогда я ушла. Тихо, задом, не дыша, как отходишь от сусального золота.

На лестнице, на второй ступеньке снизу, сидел Тихон.

Я чуть не вскрикнула. Он сидел в темноте, сложив руки на коленях, и смотрел на меня снизу вверх. Глаза у него блестели, как у кошки, двумя зелёными искрами, хотя никакого света там не было.

— Не бери, что не дадено, хозяюшка, — сказал он тихо, своим печным голосом. — Не бери. Пожалей себя. И его пожалей.

— Я ничего… — начала я.

— Иди спать, — сказал Тихон. — Угли я сам подложу. Я угли люблю.

Я пошла. Он остался сидеть на ступеньке. Утром, когда я вышла из гардеробной, жаровня была полна свежих углей, ровно рдеющих, а воздух в восьмиугольной комнате держался тёплый и влажный, как я хотела, — даже лучше.

* * *

Весь понедельник я работала так, как не работала никогда. Может быть, от страха. Страх для мастера — как скипидар для краски: капля разжижает, стакан растворяет. Мне пока доставалась капля. Я сняла старый лак с двух створок, промыла резьбу, заклеила трещину на нижней полке осетровым клеем и стянула её струбциной. На цаплях вскрыла позолоту, тонко, только по краям. Шкаф понемногу оживал. Белые бельма лака уходили, из-под них проступало тёмное, тёплое, медовое дерево. Женские лица с закрытыми глазами на створках оказались не утопленницами, а спящими. Я видела много резьбы. Эта была сделана так, будто мастер резал лица с натуры.

Надпись на карнизе я так и не смогла прочесть. Скопировала её на кальку и спрятала в саквояж, сама не знаю зачем.

В понедельник днём по коридору мимо восьмиугольной комнаты прошла женщина.

Я увидела её через открытую дверь. Высокая, тонкая, в тёмно-синем платье с длинными рукавами, старомодном, с высоким воротником, какие носили года три назад. Светлые

волосы уложены на затылке. Лицо узкое, бледное, с тем же резким носом, что у графа. Глаза тоже ладожские, светлые, только в них было больше света и меньше льда. Она шла быстро, почти бежала, и на ходу натягивала перчатки.

Она поравнялась с дверью, увидела меня и остановилась. Посмотрела на меня, на шкаф, снова на меня. Лицо у неё дрогнуло. Не так, как у человека, который удивлён, а так, как у человека, который испугался, что его узнали.

— Добрый день, — сказала я.

— Добрый день, — ответила она. Голос был грудной, приятный, чуть хрипловатый. — Вы… реставратор?

— Сомова. Аглая Ильинична.

— Вера, — сказала она. Отчества не назвала, фамилии тоже. — Вы… — Она запнулась. — Простите. Не буду вам мешать.

И ушла. Почти побежала, как раньше, только быстрее.

После неё в коридоре остался запах. Слабый, сладкий, пудровый. Фиалки.

Я стояла с кистью в руке и раскладывала увиденное по полочкам, как раскладываю пробы лака. Брокаровские фиалковые духи по рубль двадцать за флакон носит половина Петербурга, от курсисток до кокоток. Платье трёхлетней давности в доме, где мебель помнит императора Павла, тоже ничего не доказывает. Но Ремер сказал мне про даму в вуали: старое платье, позапрошлого сезона, и шов на правой перчатке распоролся у большого пальца. А Вера натягивала перчатки

на ходу, и правая у большого пальца топорщилась.

Одна примета — случайность. Две — повод присмотреться. Я положила кисть, вытерла руки о фартук и вышла на лестницу, будто искала Тихона. Внизу как раз хлопнула входная дверь. На мраморном полу прихожей, у самого порога, лежала узкая лайковая перчатка. Правая. Я спустилась, подняла её и повертела в руках. Шов у большого пальца был распорот на полвершка, нитки торчали свежие, ещё не размахрились. Внутри перчатка была тёплая и пахла фиалками.

Я положила её на столик у двери, пальцами вверх, как кладёт прислуга обронённую вещь, и вернулась к створкам. Значит, так. Заказчица живёт в доме, который я граблю. Или кто-то очень хочет, чтобы я так подумала. Ни один из двух вариантов мне не нравился, а времени разбираться до среды у меня не было: Костины две тысячи четыреста от моих догадок не уменьшались.

* * *

В понедельник вечером, тридцатого октября, граф пригласил меня ужинать.

Тихон пришёл в восьмиугольную комнату в седьмом часу, сказал «барин кушать зовёт» и ждал, пока я вымою руки. Отказаться было невозможно. Наёмная мастерица, которая отказывается от ужина с графом, выглядит подозрительнее, чем наёмная мастерица, которая соглашается.

Столовая была огромная, на двадцать четыре персоны, а накрыто было на двоих, на разных концах стола. Нас разде-

ляли сажени три полированного красного дерева, канделябры и ваза с белыми хризантемами. Подавал Тихон. Суп с потрохами, телятина, белое вино, которое граф налил мне и не налил себе. Он не ел. Сидел, положив руки в перчатках по обе стороны от пустой тарелки, и смотрел, как ем я.

— Вы не голодны, ваше сиятельство?

— Я ужинаю позже.

— Один?

— Иногда в обществе.

Мне вспомнилась ванна с чёрной водой. Телятина встала у меня в горле. Я запила её вином.

— Вы любопытны, госпожа Сомова, — сказал граф. — Это опасная черта для человека вашей профессии.

— Реставратору без любопытства нельзя.

— Я говорил не о реставрации.

Мы помолчали. Часы на камине (бронзовые, с Хроносом, который держал косу) пробили половину восьмого. Где-то в доме, в двадцати других комнатах, часы ответили им, как эхо.

— Вы знали моего отца? — спросила я. Не знаю, почему спросила. Наверное, потому, что он сказал «любопытна», а я хотела показать, насколько.

Он поднял на меня глаза.

— Илью Сомова? Знал. Он работал у моего отца два года. Реставрировал этот шкаф в первый раз. Лучший мастер, какого я видел. — Пауза. — До позавчерашнего дня.

Это прозвучало не как комплимент, а как констатация, сухо, но я почувствовала, как у меня потеплели уши.

— Он никогда не рассказывал мне о вашем доме.

— Неудивительно. — Граф взял бокал (свой, пустой), повертел его в пальцах и поставил обратно. — В нашем доме много вещей, о которых не рассказывают. Ваш отец был умный человек. Умные люди знают, когда промолчать. И знают, чего не трогать.

— А если не знают?

— Тогда, — сказал граф Ладожский, — они учатся. Обычно поздно.

Он встал. Ужин, видимо, был окончен. Тихон бесшумно появился за моим стулом.

— Корпус почти высох, — сказал граф. — Завтра вы можете закончить сушку и вернуться к себе. Сегодня ваша последняя ночь в моём доме, Аглая Ильинична.

Он впервые назвал меня по имени-отчеству. Я не знала, что это значит, и это мне не понравилось.

— Благодарю, ваше сиятельство.

Он дошёл до двери, остановился и обернулся. На секунду у него дрогнул угол рта и тут же выпрямился, как рыба в тёмной воде.

— И ещё, — сказал он. — Я сплю очень чутко. Доброй ночи.

Дверь закрылась. Часы пробили без двадцати восемь.

Я сидела над остывшей телятиной и смотрела на белые

хризантемы. Мне было очень ясно, что он знает. Без всяких догадок и подозрений: знает, зачем я пришла, знает про сегодняшнюю ночь, может быть, знает даже про Нюту на водосточной трубе.

Умный человек на моём месте встал бы из-за стола, сказал Тихону, что заболела тётушка в Колпине, и ушёл бы в ночь, оставив и саквояж, и сорок рублей, и три тысячи.

Я налила себе ещё вина. Подумала о Косте, у которого одна половина лба горячая, а другая холодная. О том, что послезавтра среда, первое ноября.

А потом, к своему стыду, подумала о тонком, как волос, шве на серебряной рукояти. О том, что внутри.

Умная я никогда не была. Только ловкая.

Глава 4. Ночь на Мойке

Нюта называет это «час щекотки». Последний час перед делом, когда всё уже решено, ничего нельзя изменить, и остаётся только ждать, а в животе щекочет, будто проглотила живого воробья.

Мой час щекотки длился с полуночи до половины третьего.

Я лежала на кушетке в гардеробной, не раздеваясь, в тёмном шерстяном платье без кринолина и без турнюра. В таком можно и лезть, и бежать, и нагнуться под стол, не зацепившись. Ботинки стояли у двери. Отмычки, связка тонких стальных крючков в замшевом футляре, лежали у меня в рукаве, в кармашке, который я сама пришила на внутренней стороне манжеты. Отец носил отмычки так же: в рукаве у фокусника есть всё, кроме того, что ищут зрители.

Каждые четверть часа часы били. Каждые два часа я вставала и подкладывала угли. Каждый раз, когда я входила в восьмиугольную комнату, лица на створках реликвария смотрели на меня закрытыми глазами. Мне казалось, что за время, пока меня не было, они чуть-чуть повернулись, следя.

В четверть третьего я услышала, как внизу набирается ванна.

Я села на кушетке. Сердце у меня стучало ровно и сильно, как колотушка Сёмки, обмотанная войлоком. Подожда-

ла, пока шум воды стихнет. Подождала ещё. Снизу донёсся голос графа, глухой, неразборчивый, а за ним другой, певучий, булькающий. Разговор начался.

Я взяла ботинки в руку и вышла.

* * *

Восьмиугольная комната была тёплой и влажной. Жаровня светилась в углу красным, как глаз. Простыни на верёвках висели неподвижно. Под нарисованными звёздами на куполе было темно. Я не стала зажигать лампу, хватало света от углей. Нюрнбергский замок не нужно видеть. Его нужно слышать пальцами.

Я опустилась на колени перед реликварием и достала отмычки.

Ложная скважина была сверху, крупная, с медной накладкой в виде цапли. Настоящая пряталась ниже, под резной рыбой. Рыба отъезжала в сторону, если нажать ей на хвост. Я заметила это в субботу, когда граф отпирал шкаф: его большой палец лёг на рыбий хвост так привычно, будто он делал это всю жизнь.

Нажала. Рыба отъехала. За ней открылась узкая щель, в которую едва входил мизинец.

Первая отмычка вошла легко. Я нащупала первую сувальду и подняла её. Вторую. Третью. На четвёртой крючок соскользнул, и сувальды упали обратно, все разом, с тихим насмешливым щелчком. Испуганный бюргер прятал главное там, где страшнее всего.

Я вытерла ладонь о юбку и начала снова.

Часы пробили половину третьего. Я вздрогнула, крючок дёрнулся, но в этот раз я его удержала. Одна. Две. Три. Четыре. Пятая сувальда сидела туго, будто примёрзла. Я надавила, совсем легко, как давят на клавишу, чтобы взять пианиссимо. Она подалась. Вторым крючком, натяжителем, я повернула цилиндр. Два оборота налево. Теперь с нажимом пол-оборота направо.

Внутри дважды щёлкнуло. Лязгнул засов.

Пять минут сорок секунд. Отец справился бы за три.

Створки открылись сами, медленно и беззвучно, будто шкаф только этого и ждал. Изнутри пахнуло болотом, кувшинками и холодом. Я не стала смотреть ни на башмачки, ни на кинжал, ни на книгу. Протянула руку и взяла серебряную печать.

Она была холодная. Холоднее, чем бывает металл в тёплой комнате, будто её только что вынули из колодца. И тяжёлая, гораздо тяжелее, чем выглядела. Я держала её на ладони, и мне казалось, что держу не вещь, а живое существо, которое притворилось спящим.

Теперь нужно было закрыть шкаф, отнести печать в библиотеку, открыть окно, отдать её Нюте и вернуться в гардеробную. На всё про всё — четыре минуты.

Я посмотрела на шов.

При свете углей он был виден лучше, чем днём: тонкая тёмная линия посередине утолщения, ровная, как горизонт.

Там, где серебро сходилось с серебром, чернь въелась глубже. Я провела по шву ногтем. Он чувствовался, едва заметно, как чувствуется под пальцами склейка на старой фарфоровой чашке.

Не надо, сказала я себе.

Я знала, что не надо. Знала так же ясно, как знаешь, что не надо трогать утюг, проверяя, горячий ли он. И всё равно протянула к нему пальцы.

Но я рассуждала так. Та дама под вуалью заплатила полторы тысячи вперёд и заплатит ещё полторы за серебряную печать. Ни один человек в здравом уме не платит три тысячи за кусок серебра весом в полфунта. Значит, ей нужна не печать. Ей нужно то, что внутри. А я продаю вещь, не зная, что продаю. Так поступают либо дураки, либо покойники, и обычно это одни и те же люди. Значит, мне надо знать.

Это было хорошее рассуждение. Почти такое же хорошее, как объяснения про воду у Пуховых. Я сама себе почти поверила.

Правая рука взялась за цаплю. Левая — за щиток. Я повернула.

Сначала ничего не произошло: серебро держалось прочно, будто вросло само в себя. Я повернула в другую сторону, против часовой стрелки, как поворачивают гайки, которые сделаны людьми, думающими как воры. Шов дрогнул. Что-то внутри тихонько хрустнуло, как хрустит лёд на лужах в ноябре. Рукоять подалась и начала откручиваться, ту-

го, со скрипом. Я повернула раз, другой, третий. На четвёртом обороте половинки разошлись.

Внутри была земля.

Чёрная, влажная, плотная, как глина. Она заполняла полую рукоять доверху и пахла так сильно, что у меня заслезились глаза. Тиной, гнилым тростником, торфом, стоячей водой, пролежавшей под солнцем двести лет. В земле, будто в комке глины, виднелись тонкие белые нити. Корешки или волосы, не знаю.

Я поднесла половинку рукояти ближе к углям, чтобы разглядеть, и поняла, что край у неё острый. Даже слишком.

Край резьбы, по которой накручивалась вторая половина, был заточен, как бритва. Я поняла это через секунду после того, как провела по нему подушечкой большого пальца. Боли не было, только холод. Потом на пальце выступила тёмная бусина крови, повисла и упала.

Прямо в землю.

* * *

Земля её выпила.

Я видела это своими глазами: капля легла на чёрную поверхность, секунду лежала, круглая, блестящая, а потом ушла внутрь, как уходит вода в сухой песок. Без следа.

И стало тихо.

Я не сразу поняла, что это значит. Не было никаких звуков, а я всё равно заметила, что их не стало. Часы.

В доме Ладожских остановились все часы.

Они не били, не тикали. Ни единого звука ни из библиотеки, ни из коридора, ни из столовой, ни снизу, ни сверху. Будто огромный механизм, который прятался в стенах и сто пятьдесят лет отсчитывал время, кто-то взял и остановил ладонью. В тишине я услышала, как колотится моё сердце, и сразу после этого — как оно пропустило… нет, не так. Оно не пропустило удар. Оно ударило дважды подряд, как будто ему вдруг стало тесно.

Холод пошёл от пальца вверх.

Холод шёл тонкой линией, будто под кожей провели иглой изо льда, медленно, от подушечки большого пальца через ладонь к запястью. Я смотрела на свою руку и видела, как под кожей, там, где у запястья проходят голубые жилки, проступает ещё одна. Серебряная. Тонкая, ровная, светящаяся еле-еле, как светится иней под луной. Она дошла до запястья и остановилась, будто ждала.

Простыни на верёвках шевельнулись. Сквозняка не было. Они качнулись все разом, в одну сторону, к реликварию, как свечи у Пуховых.

По стенам, по обоям с бледными цветами пополз иней. Узором из папоротников и перьев, как зимой на окнах. Он полз от реликвария во все стороны, по стенам, по полу, по куполу, по нарисованным звёздам. Жаровня в углу зашипела, угли в ней потемнели и подёрнулись сизым пеплом, хотя минуту назад горели ярко.

Я подняла глаза на шкаф.

Женские лица на створках открыли глаза.

Все шесть. Деревянные веки поднялись, и под ними оказались не деревянные глаза, а живые. Светлые, прозрачные, ладожские. Как у графа. Они смотрели на меня.

И я услышала воду. Всю сразу.

Я слышала, как течёт Мойка за стеной, как вода обтекает каждый камень набережной, каждую сваю. Слышала Крюков канал, тихий, сонный. Слышала Неву. Огромную, чёрную, тяжёлую, она дышала там, за домами, как дышит во сне великан. Слышала Фонтанку, Екатерининский канал, Обводный, Лиговский, водопроводные трубы под мостовыми, колодцы во дворах, лужи, капли на карнизах. Весь город был пронизан водой, как тело кровью, и вся эта вода вдруг повернулась ко мне.

Повернулась и узнала.

Тысяча голосов зашептала разом, тихо, на языке, которого я не знала и всё-таки понимала. Одно слово: «Поручительница».

Мне захотелось кричать. Я прикусила щёку изнутри, так что во рту стало солоно: кто кричит, тот уже признался.

Вместо этого руки сделали то, что умели делать лучше всего. Они закрутили половинки рукояти обратно. Четыре оборота по часовой стрелке. Шов сошёлся. Печать снова стала просто печатью: тёмное серебро, цапля, кольцо в клюве. Только теперь она была тёплой. Лёгкой. Пустой, как скорлупа, из которой вылупился птенец.

Я сунула её в карман юбки и встала. Ноги держали. Это было удивительно.

* * *

В окно библиотеки постучали. Тихо, три раза, ногтем. Нюта.

Я пошла к окну. Иней шёл за мной по пазам паркета, по корешкам книг на полках. Окно было закрыто ставнями изнутри, ставни на щеколде. Я откинула щеколду, распахнула ставни, подняла раму. Ночной воздух ударил в лицо: мокрый, холодный, пахнущий рекой и печным дымом. Под окном, на узком карнизе, вцепившись одной рукой в костыль водосточной трубы, висела Нюта. В чёрном трико, в чёрном платке, лицо вымазано сажей, как у трубочиста. Только глаза блестели.

— Ты чего так долго? — прошептала она. — Я тут околела вся. Давай.

Я вытащила печать из кармана и протянула ей.

Нюта взяла её и вздрогнула.

— Тёплая, — сказала она удивлённо. — Как живая. Галка, а что у тебя с лицом? Ты чего, плачешь?

Я не плакала. Я провела рукой по щеке. Щека была мокрая, но не от слёз. Это была речная вода, холодная, пахнущая тиной. Она выступала у меня на коже сама собой, как пот.

— Уходи, — сказала я. — Быстро. Как договорились.

— А ты?

— Уходи, Нюта!

Она не стала спорить. Это у неё от цирка: когда шпрехшталмейстер кричит «ап!», не спорят, а прыгают. Она сунула печать за пазуху, перебралась на трубу и поползла вниз, быстро и бесшумно, как ящерица. Через несколько секунд её уже не было видно в темноте. Только внизу, на набережной, коротко свистнул Сёмка. Это значило: «Я здесь, всё чисто».

Я опустила раму.

И услышала шаги.

Он поднимался по лестнице не спеша, не крадучись. Шаги были ровные, тяжёлые, как у человека, который точно знает, куда идёт и что там найдёт. Дом больше не помогал ему ходить неслышно. Половицы скрипели под его ногами впервые за четыре дня.

Я могла бы вернуться в гардеробную, лечь на кушетку и сделать вид, что сплю. Или броситься к двери на чёрную лестницу. Или открыть окно и полезть вслед за Нютой. Я ничего этого не сделала. Стояла у окна и смотрела на дверь библиотеки, а по стёклам за моей спиной полз иней.

Дверь открылась.

* * *

Граф стоял на пороге, без сюртука, в одной рубашке с закатанными рукавами, без перчаток. Его голые руки были мокрые, с пальцев капало на паркет. Волосы растрёпаны. Лицо…

Я ждала ярости. Ждала, что он закричит, бросится на меня, схватит за горло. Так поступают обокраденные люди, я

видела. Ничего этого не было. На его лице было выражение, которого я никогда раньше не видела у живого человека. Я искала ему имя и нашла не сразу. Так смотрит человек, с которого сняли кандалы, которые он носил десять лет. Он ещё не верит. Он ещё не знает, что делать с руками. Ему кажется, что он сейчас упадёт, потому что разучился стоять без тяжести.

Облегчение. Чудовищное, невыносимое облегчение.

А под ним, глубже, — ужас.

— Что вы сделали? — спросил граф Ладожский.

Он спросил это тихо, почти шёпотом. Я молчала.

Он посмотрел на мои руки. На большой палец правой, где запеклась тёмная бусина крови. На запястье, где под кожей светилась серебряная линия. Он сделал шаг ко мне, ещё один, и иней на паркете хрустел у него под ногами.

— Вы её открыли, — сказал он. Это был не вопрос. — Господи. Вы её открыли. Как вы узнали, что она открывается? Этого никто не знает. Этого не знала даже… — Он оборвал себя.

— Я реставратор, — сказала я. Голос у меня был хриплый, как у Веры в коридоре. — Шов на рукояти видно. Если знать, куда смотреть.

Он засмеялся. Страшно, беззвучно, одними плечами.

— Шов видно, — повторил он. — Двести десять лет. Двести десять лет никто, кроме наших, не видел этого шва. А вы увидели. Конечно. Конечно, вы увидели. Дочь Ильи Сомова.

Он подошёл вплотную. Ростом он был выше меня на голову, и мне пришлось задрать подбородок, чтобы смотреть ему в глаза. Я смотрела. Если опустишь глаза, ты проиграла.

— Где она?

— Кто?

— Печать.

— Не понимаю, о чём вы говорите, ваше сиятельство.

Я сказала это хорошо. Ровно, с лёгким недоумением, чуть обиженно, как говорят честные люди, которых несправедливо заподозрили. Я двадцать раз говорила так у себя в голове, пока ждала в гардеробной. Это была лучшая моя роль.

Он даже не стал её слушать.

— Кто вас послал? — спросил он. — Гриммель?

— Я не знаю никакого…

— Гриммель, — повторил он. Голос у него стал жёстким. — Аристарх Гриммель, «Ложа Белого Света», электростанция на Обводном. Это он вас нанял? Через кого? Через Ремера? Сколько он вам заплатил, госпожа Сомова? Он сказал вам, что внутри? Сказал, что с вами будет?

Он схватил меня за запястье. За правое, где светилась серебряная линия.

Его пальцы были мокрые и холодные, как у утопленника, и в ту секунду, когда они сомкнулись на моей руке, серебряная линия вспыхнула. Ярко, белым, так, что осветила его лицо снизу, как фонарь. Он отдёрнул руку, будто обжёгся. Я видела, как на его ладони, там, где он касался меня, просту-

пил красный след, как от ожога.

Ваза с хризантемами на столике у двери (я не заметила, когда он её принёс, или она всегда там стояла) задрожала. Вода в ней поднялась столбом над цветами, тонким, прозрачным, будто кто-то тянул её вверх за нитку. Постояла и опала, расплескавшись по столику.

Граф смотрел на свою обожжённую ладонь. Потом на меня.

— Вы даже не понимаете, что взяли, — сказал он очень тихо. — Вы ничего не понимаете. Вас использовали, как отмычку. Как вы используете ваши крючки. Сунули в замок, повернули и выбросят.

Я не стала ждать, пока он объяснит. Я ударила его ногой в колено.

* * *

Я ударила один раз, коленом, зато так, чтобы он успел пожалеть, что у него вообще есть ноги. Граф охнул и пошатнулся. Я проскочила у него под рукой, к двери, в коридор, на лестницу.

Ботинки остались в гардеробной. Я бежала в одних чулках, по холодному мрамору, по чугунным ступеням, мимо портретов. Портреты смотрели мне вслед, и мне казалось, что все они чуть-чуть, одними губами, смеются. Вестибюль. Входная дверь заперта на три засова. Я отодвинула верхний, средний… нижний не поддавался. За спиной на лестнице загремели шаги.

— Хозяюшка, — сказал кто-то совсем рядом.

Тихон. Он стоял у двери, маленький, в ливрее, и смотрел на меня с упрёком и с жалостью. Потом наклонился и отодвинул нижний засов одним пальцем.

— Говорил тебе, — вздохнул он. — Не бери, что не дадено. Беги уж теперь. Беги, раз взяла.

Я выскочила на крыльцо.

Ночь. Туман. Набережная Мойки, пустая, мокрая, в жёлтых ореолах фонарей. Тёмная вода за гранитным парапетом. Слева, за мостом, — красная арка Новой Голландии, чёрная в тумане, как ворота в никуда. Справа, ближе, — Поцелуев мост, чугунный, с фонарями на четырёх гранитных обелисках.

Никакого Сёмки. Никакой Нюты. Они ушли, как я велела. Молодцы.

Я побежала направо.

Мостовая была мокрая и ледяная, камни резали ноги сквозь чулки. Ветер с залива бил в лицо. И сквозь ветер, сквозь стук моего сердца я снова слышала воду. Мойка за парапетом шептала, переговаривалась сама с собой тысячей голосов. Голоса шли за мной вдоль набережной, не отставая.

И я видела то, чего раньше не видела.

Под фонарём у моста стоял городовой, в шинели, с шашкой на боку, с башлыком на плечах, как положено. Только лица у него не было. Под козырьком фуражки была гладкая серая кожа, как на бочке, без глаз, без носа, без рта. Он по-

вернулся ко мне этим отсутствием лица, медленно, и поклонился. Низко, в пояс, как кланяются в деревне барыне.

На парапете, свесив ноги к воде, сидел мальчишка-газетчик. Босой, в рваном армяке. Ноги у него были зелёные, как тина, и с них капало. Он посмотрел на меня круглыми рыбьими глазами без век и тоже поклонился.

Из водосточной трубы на углу дома выглядывала крошечная сморщенная рожица. Мохнатая, с ушами, как у летучей мыши. Она пискнула «поручительница!» и спряталась.

Я споткнулась, чуть не упала, выпрямилась и побежала дальше.

— Аглая!

Он догонял. Я слышала его шаги по мостовой, тяжёлые, неровные: я хорошо приложила его в колено. Он бежал прихрамывая. Но у него были ноги длиннее и ботинки на ногах.

Я взбежала на Поцелуев мост. Четыре фонаря горели на обелисках. Туман висел над водой так густо, что Мойки внизу не было видно, только темнота и шёпот.

На другом конце моста стоял человек.

Я его не знала. Высокий, в котелке и в длинном пальто, руки в карманах. Он стоял неподвижно, перегораживая дорогу, и смотрел на меня. Под котелком был виден только светлый ус и папироса, огонёк которой разгорался и гас. Когда я остановилась, он вынул правую руку из кармана. В руке что-то блеснуло.

Самый обыкновенный человек, с усами и в котелке, тако-

го не запомнишь и через минуту. После городового без лица и мальчишки с зелёными ногами это почему-то оказалось страшнее.

— Аглая Ильинична, — сказал он вежливо, с лёгким остзейским выговором. — Пройдёмте. Не надо бегать. Вас ждут.

Сзади, на другом конце моста, остановился граф. Я обернулась. Он стоял, тяжело дыша, держась рукой за чугунные перила. Без пальто, в одной рубашке, мокрой от тумана. Он смотрел не на меня, а на человека в котелке. Лицо у него стало белым и жёстким.

— Не смей, — сказал он человеку в котелке. Голос был такой, что у меня по спине прошёл мороз. — Не смей её трогать. Она не ваша.

— Она уже не ваша, ваше сиятельство, — ответил человек в котелке. — Это вы её потеряли. Мы её только подберём.

Они говорили обо мне так, будто я была вещью. Кошельком, который обронили на мостовой. Печатью из шкафа.

Я перелезла через перила.

Это оказалось легко: чугунный узор, удобный, как лестница. Я встала на внешний край моста, держась за перила за спиной, над туманом, над чёрной водой, которой не было видно.

— Аглая, нет! — крикнул граф.

Человек в котелке бросился ко мне.

Я отпустила перила.

* * *

Мойка в конце октября холоднее, чем можно себе представить. Это не холод, а удар, сразу со всех сторон, будто тебя засунули в ледяной кулак и сжали. Вода сомкнулась над головой, тяжёлое шерстяное платье потянуло вниз, в темноту, в ил, туда, где лежат утопленники, барочные цепи и старые якоря.

Я не умею плавать. Никогда не умела. Отец умел, и это ему не помогло.

Я пошла ко дну.

И вода меня поймала.

Не знаю, как ещё это описать. Чьи-то руки, много рук, холодных, мягких, скользких, подхватили меня снизу, под спину, под плечи, под колени. Бережно, как подхватывают ребёнка, упавшего с качелей. Я открыла глаза под водой и увидела их. Бледные, длинные, светящиеся слабым зеленоватым светом. Пальцев на каждой руке было четыре, и между пальцами тянулись тонкие перепонки. Вокруг меня в темноте плыли лица, женские, с закрытыми глазами, как на створках реликвария. Волосы у них колыхались, как водоросли. Они улыбались.

«Поручительница, — шептала вода. — Наша. Наша. Держим. Несём».

Они несли меня. Под мостом, вдоль набережной, мимо свай, мимо ржавых колец для причала. Быстро, плавно, так, что вода не била в лицо. Мне не нужно было дышать. Я по-

няла это не сразу, а когда поняла, перестала бояться. Почти.

Потом руки подняли меня вверх. Голова вынырнула на воздух, я закашлялась, глотнула тумана. Передо мной были каменные ступени спуска к воде. Гранитные, скользкие, с железным кольцом на нижней ступени. Руки бережно положили меня на эти ступени, как кладут на кровать, и отпустили.

Я лежала на граните, мокрая насквозь, в одних чулках, и кашляла речной водой. Вода стекала с меня, с волос, с платья, и уходила обратно в Мойку ручейками. Не просто стекала вниз, а ползла по ступеням, как ползут к хозяину собаки.

Там, где я лежала, гранит покрылся тонким инеем. От меня, во все стороны.

Я подняла голову. Это был Храповицкий мост, в трёхстах шагах вниз по течению. Отсюда был виден Поцелуев: четыре жёлтых фонаря в тумане. На мосту стояли двое. Человек в котелке перегнулся через перила и смотрел в воду, туда, где я упала. Граф стоял неподвижно и смотрел в мою сторону. Он не мог видеть меня: туман, темнота, расстояние. Но он смотрел точно на меня. Я знала это так же точно, как знала, что вода только что меня спасла.

Он видел, что сделала вода. Видел и понял. Теперь он знал о том, что я взяла, больше, чем я сама.

Я встала. Ноги дрожали, зубы стучали так, что, казалось, их слышно на Невском. Я поднялась по ступеням на набережную и пошла, держась за стены, в сторону Никольского рынка, где меня ждали Нюта и Сёмка с печатью, которая те-

перь ничего не стоила.

На руке, у запястья, под мокрым рукавом светилась серебряная линия. Она стала чуть длиннее, на полвершка. Я этого ещё не знала. Узнала утром.

Глава 5. Город, которого не было

Проснулась я от того, что кто-то сидел у меня на груди. Для Кости слишком лёгкий, для кошки слишком тяжёлый.

Да и кошки у нас нет, хозяйка не позволяет. Кто-то маленький, тяжёлый, как мешок с мукой, и мохнатый. Он сидел у меня на груди и дышал мне в лицо тёплым запахом печной золы и кислых щей. Я открыла глаза.

На меня смотрело существо величиной с кошку. Сморщенное, бурое, как печёное яблоко, с бородой до пупа и глазами-угольками. Одето оно было в крошечную красную рубаху, подпоясанную верёвочкой, а на голове у него был колпак из старого валенка.

— Ты, что ли, поручительница? — сварливо спросило существо. — Ну-ну. Я-то думал, хоть старуха какая. А тут девка тощая, и та мокрая.

Я закричала.

Существо прыгнуло с меня на пол, с пола на печь и исчезло в отдушнике, только колпак мелькнул. В дверь застучали, в комнату влетел Костя в нижней рубахе и с кочергой. За ним Нюта, всклокоченная, с одеялом на плечах (она ночевала у нас на сундуке в кухне).

— Что? Что такое?

— Там… — Я показала на печь. — Там был… маленький… с бородой…

Костя посмотрел на печь. Нюта посмотрела на печь. Печь была как печь: изразцовая, белая, с медной заслонкой. Из отдушника тянуло теплом.

— Мышь, — сказал Костя.

— С бородой?

— Галка, у тебя жар. — Нюта подошла и потрогала мне лоб. Отдёрнула руку. — Ой. Наоборот. Ты ледяная. Как покойница.

Я посмотрела на свою правую руку и замолчала.

Серебряная линия шла от большого пальца через ладонь, через запястье и дальше, вверх по руке, на полвершка выше запястья. Тонкая, ровная, как вена, только не голубая, а белая, светящаяся. При свете утра из окна свечение было почти незаметно, будто иней на стекле. Но я его видела. Я потрогала линию пальцем. Она была холодная. Холоднее всего остального тела.

— Нюта, — сказала я. — Ты это видишь?

— Что?

— Вот это. На руке.

Нюта взяла мою руку, повертела. Посмотрела на ладонь, на запястье, прямо на линию.

— Порезалась, — сказала она. — Вон, на пальце. Ерунда, заживёт. Ты бы йодом.

Она не видела. Смотрела прямо на неё и не видела.

* * *

Ночь я помню кусками, как помнят сон.

Как я шла вдоль Мойки к Никольскому рынку, мокрая, в чулках, держась за стены. Как Нюта и Сёмка выскочили мне навстречу из подворотни и Нюта ахнула, а Сёмка выругался так, что я бы надрала ему уши, если бы могла поднять руку. Как ванька у рынка не хотел нас везти, а Нюта сунула ему рубль и наврала, что я её сестра, что меня бросил жених и я с горя кинулась в реку. Как ванька всю дорогу на Пески поглядывал на меня через плечо с сочувствием и рассказывал, как его кума тоже кидалась, только в прорубь, а теперь у неё шестеро детей и мелочная лавка. Как я сидела в пролётке и смотрела на город.

Город был другим. Вернее, тем же самым, и в этом было всё дело.

Те же дома, те же фонари, те же вывески «Булочная Филиппова» и «Чай Высоцкого», те же мостовые. Только теперь на них было то, чего я раньше не видела. Как на картинке-загадке в «Ниве», где нужно найти в ветвях дерева спрятанного охотника. Ты долго смотришь, и ничего, а потом видишь, и забыть уже не получается. Охотник там, и всегда там был.

На Сенной, на крыше мясного ряда, сидело что-то длинное, серое, похожее на огромную облезлую кошку с человеческими руками. Оно чесало себе спину и смотрело на нас.

На углу Садовой и Гороховой, в окне трактира, за стеклом, вниз головой, как летучая мышь, висела старуха. В платке, в салопе, совершенно спокойно, будто так и надо.

У Пяти углов, в луже, отражалась не я, а девочка лет де-

сяти в белой рубашке. Она помахала мне рукой из лужи.

Они все кланялись. Кто-то низко, в пояс, кто-то кивал, кто-то просто провожал глазами. Все знали, кто я. Все, кроме меня самой.

— Ты чего головой вертишь? — спросила Нюта.

— Ничего, — сказала я.

* * *

Утром я сидела в кухне, закутанная в два платка, пила чай с малиной, который Нюта заварила крепким, как дёготь, и рассказывала. Про то, как открыла печать. Про кровь, землю, часы. Про лица на створках, иней, воду. Про городового без лица. Про то, как прыгнула с моста и меня понесли руки.

Костя слушал, сидя верхом на табурете, положив подбородок на спинку. На щеке у него, там, где его касалась Огнея Тихоновна, горел след. Теперь я видела, что это не румянец и не пятно лихорадки. Это была ладонь. Чёткий красный отпечаток ладони с длинными пальцами, будто горячий утюг приложили к коже. По краям он светился, тускло, как угли в жаровне под утро.

Нюта слушала, стоя у плиты, скрестив руки. Сёмка спал на сундуке, укрывшись Нютиной шубой, и храпел.

Когда я закончила, в кухне было тихо. Тикали ходики на стене: обычные, дешёвые, с кукушкой, которая давно не куковала. Капала вода из рукомойника.

— Галка, — сказал Костя осторожно, как говорят с больными. — Ты упала в Мойку. В конце октября. В одежде. Ты

могла умереть. У тебя переохлаждение, может, нервная горячка. Тебе надо лечь.

— Ты мне не веришь.

— Я верю, что ты в это веришь.

— А руки? Кто меня вытащил? Я не умею плавать.

— Течением прибило к спуску.

— Течение? В Мойке? Против ветра? Триста шагов?

Он замолчал. Посмотрел на Нюту. Нюта смотрела в окно.

— Я видела, как ты прыгнула, — сказала она вдруг. — С моста. Я не ушла. Я за ограду Новой Голландии спряталась, мне оттуда видно было. Я видела, как ты прыгнула, и видела, как они на мосту стоят и смотрят вниз, оба. Граф и этот, второй, в котелке. Я досчитала до ста. Я думала, ты утонула. А потом я посмотрела на воду…

Она замолчала. Повернулась ко мне. Лицо у неё было серьёзное, без всегдашней насмешки, и под рыжими веснушками бледное.

— Вода светилась, — сказала Нюта. — Под мостом. Зелёным. Как у меня перчатка. И это зелёное ушло вниз по течению. Быстро. Быстрее, чем лодка. Я не знаю, что это было. Я тебе вчера не сказала, потому что подумала, что мне показалось.

В кухне снова стало тихо.

Ходики тикали. Из печного отдушника высунулась бурая сморщенная рожица в колпаке из валенка, посмотрела на меня, фыркнула и спряталась. Ни Костя, ни Нюта её не заме-

тили.

— Где печать? — спросила я.

Нюта полезла за пазуху, вытащила и положила на стол.

Печать лежала между чайником и сахарницей: серебро, цапля, кольцо в клюве. Обыкновенная старая вещь, какие продают в лавках на Апраксином. Я взяла её. Она была лёгкая. Тёплая, как кусок хлеба. Пустая. Я открутила рукоять, и она поддалась сразу, будто никогда и не была запечатана. Внутри лежала земля, только теперь она была серая, сухая, рассыпчатая, как пепел. Белые нити в ней истлели. Запаха не было.

Что бы там ни было, теперь его там не было. Оно было во мне.

* * *

В девять я была у Ремера.

Лавка была ещё закрыта. Я постучала в заднюю дверь, со двора, где у мастерской было окно на помойку и на поленницу. Ремер открыл мне в халате, в одних очках (для близи), небритый. Посмотрел на меня поверх очков и сразу всё понял. Не знаю как. Может быть, по лицу.

— Входи, — сказал он.

Я вошла. Вильгельм спал на верстаке на моём фартуке, свернувшись калачом. При моём появлении он поднял голову, посмотрел на меня жёлтыми глазами, зашипел, выгнул спину и сиганул под шкаф. Никогда в жизни Вильгельм на меня не шипел. Я кормила его ливером с первого дня.

— Принесла? — спросил Ремер.

Я положила печать на верстак.

Он не стал брать её в руки. Наклонился, посмотрел через обе пары очков. Он надел вторую дрожащими пальцами. Повернул носом в одну сторону, в другую. Потом выпрямился и посмотрел на меня.

— Ты её открывала, — сказал он.

Это было уже второй раз за сутки. Второй человек, который понимал, что я сделала, лучше, чем я сама.

— Откуда ты знаешь?

Вместо ответа он взял меня за правую руку, очень осторожно, будто она стеклянная. Расстегнул пуговку на манжете и отвернул рукав. Серебряная линия была там: от ладони через запястье вверх. Ремер смотрел на неё. Он её видел. Я видела, что он видит: у него дрогнули губы.

— Илья, — сказал он едва слышно. — Господи, Илья. Я же тебе обещал.

— Что обещал? — Я выдернула руку. — Платон Карлович, что ты обещал отцу? Ты знал? Ты знал, что внутри? Ты знал, что со мной будет?

— Нет! — Он сказал это так громко, что Вильгельм под шкафом заворчал. — Нет, Галочка. Клянусь тебе. Я знал, что Ладожские… что это опасная вещь. Я знал, что твой отец её боялся. Но я не знал, что она открывается. Я думал, ты возьмёшь печать, отдашь её, получишь деньги, и всё. Я думал… — Он сел на табурет, будто ноги подкосились, снял обе па-

ры очков и потёр глаза. — Я старый дурак. Старый, жадный дурак. Лавка заложена. Мне обещали…

Он замолчал.

— Кто обещал? — спросила я тихо.

Ремер не ответил. Он сидел, сгорбившись, с очками в руках, и вдруг показался мне очень старым. Старее Тихона.

— Не ходи, — сказал он наконец.

— Куда?

Он полез в карман халата и вытащил записку. Сложенный вчетверо листок плотной бумаги с золотым обрезом, пахнущий фиалками.

«Сегодня в полдень. Буфет первого класса Варшавского вокзала. Столик у окна, на перрон. Возьмите "Новое время". Вещь положите в газету».

— Принесли вчера вечером, — сказал Ремер. — Мальчишка-посыльный. Галочка, не ходи. Оставь печать здесь. Я сам отнесу. Я скажу, что ты заболела.

— А деньги?

— Какие теперь деньги…

— Две тысячи четыреста, — сказала я. — К завтрашнему дню. Или Костю возьмут «по-старому». Я теперь знаю, что это значит, Платон Карлович. Я видела у него на щеке ладонь. Она светится.

Ремер посмотрел на меня. Я ждала, что он засмеётся, скажет: «Ты бредишь, Галочка, тебе надо в постель». Он не засмеялся. Он закрыл глаза, кивнул, будто я подтвердила то,

чего он боялся, и тихо сказал:

— Тогда возьми хотя бы вот это.

Он встал, подошёл к шкафу с инструментами, открыл нижний ящик и достал оттуда что-то маленькое, завёрнутое в замшу. Развернул. На замше лежал отцовский складной нож. С костяной рукояткой, с латунными заклёпками, с вытертым до блеска лезвием. Я узнала бы его из тысячи. Отец резал им всё на свете, от яблок до холста. Нож пропал в ту ночь, когда отец утонул. Его не нашли ни при теле, ни дома.

— Откуда он у тебя? — спросила я. Голос у меня сел.

— Он оставил его мне, — сказал Ремер. — За день до того, как… Сказал: «Если что, отдай Галке. Когда придёт время». — Он вложил нож мне в ладонь. — Наверное, время пришло.

Я хотела спросить ещё. Много чего. Почему он молчал пять лет. Что ещё отец ему оставил. Что он знал. Но часы на стене мастерской показывали без четверти одиннадцать, и мне нужно было ехать на Варшавский.

Я сунула нож в рукав, в кармашек к отмычкам, где он лёг так, будто всегда там лежал.

* * *

Варшавский вокзал в полдень гудит, как улей, в который сунули палку. Носильщики в белых фартуках с бляхами, господа в бобровых шапках, дамы в мехах, офицеры, мешочники, гимназисты, бабы с корзинами, жандармы. Паровозы ревут под стеклянным сводом, выпуская пар белыми клуба-

ми, и пар оседает на всём мелкими каплями. Пахнет углём, смазкой, жареными пирожками и духами «Коти».

Я вошла в буфет первого класса за пять минут до полудня, в своём лучшем пальто и в шляпке с вуалеткой, с газетой «Новое время» под мышкой. Внутри газеты лежала печать. Метрдотель окинул меня взглядом с ног до головы, решил, что гувернантка из хорошего дома, и посадил за столик у окна, как просили. Я заказала чаю с лимоном.

Окно выходило на перрон. У перрона стоял экспресс на Варшаву: синие вагоны с золотыми гербами, проводники в форме, пассажиры с саквояжами. Через стекло всё это казалось картинкой из волшебного фонаря.

Я положила газету на стол и стала ждать.

Чай принесли в подстаканнике, с толстым ломтиком лимона. Я обхватила стакан ладонями: мне всё время было холодно, с прошлой ночи. Не согревалась, как Костя. Только он горел, а я мёрзла.

Полдень. Пять минут первого. Десять.

Дама в вуали не шла.

Я смотрела в зал. Буфет был полон: пили чай, кофе, коньяк, ели расстегаи и пирожные. Два купца за соседним столиком спорили о цене на лес. Барышня с маменькой. Офицер с газетой. Пожилой господин в пенсне, который читал меню так долго, будто учил наизусть.

Ничего подозрительного. Ничего, что я могла бы заметить.

Я посмотрела на свой стакан.

Чай в нём дрожал.

Мелко, едва заметно, как дрожит вода в стакане, когда по улице едет ломовик. Только никакой ломовик не ехал, а экспресс за окном стоял на месте. Чай дрожал не весь: по его поверхности шла рябь, тонкая, острая, как стрелка, и все её волны указывали в одну сторону.

На дверь.

Я подняла глаза. В дверях буфета стоял человек в котелке. Высокий, в длинном пальто, со светлыми усами. Он снял котелок, улыбнулся метрдотелю, и я увидела его лицо. Обыкновенное, гладкое, как у приказчика из хорошего магазина. Светлые волосы на пробор. Светлые глаза. Ничего особенного. Такое лицо забываешь через минуту.

Он оглядел зал. Не торопясь, как оглядывает прилавок покупатель, который точно знает, что ему нужно. Остановился на мне.

За его спиной, в дверях, стояли ещё двое. Широкие, в поддёвках, с красными лицами ломовых извозчиков. Они не входили, просто стояли, перегораживая выход.

Человек в котелке пошёл ко мне между столиками.

Чай в стакане плеснул через край.

И тут я поняла сразу всё, как понимаешь фокус, когда видишь его с изнанки. Дама в вуали не придёт. Её никогда и не было в этой игре, или она была в ней такой же отмычкой, как я. Записка с золотым обрезом и фиалками была приманкой.

Печать никому не нужна: она пустая, и они это знают. Если не знали вчера, то узнали сегодня ночью, когда я прыгнула с моста и вода меня понесла.

Им нужна не печать. Им нужна я.

Человек в котелке подошёл к столику и остановился. Вежливо, чуть наклонив голову.

— Аглая Ильинична, — сказал он с тем же лёгким остзейским выговором, что и ночью на мосту. — Как я рад, что вы не утонули. Позвольте присесть?

— Нет, — сказала я.

Он сел.

— Моё имя Штольц. Гуго Карлович Штольц. Я секретарь одного очень уважаемого господина, который хотел бы с вами познакомиться. — Он посмотрел на газету. — Печать можете оставить себе, сударыня. На память. Нам она больше ни к чему. А вот вы, — он улыбнулся, — вы нам очень нужны. Мой патрон предлагает вам гостеприимство. До двадцатого ноября. Уверяю вас, вам будет удобно. Удобнее, чем у графа Ладожского.

— А после двадцатого?

— А после двадцатого, — сказал Штольц, — вам больше ничего не понадобится.

Он сказал это спокойно, с той же улыбкой. Купцы за соседним столиком спорили о лесе. Офицер перелистнул газету.

Я взяла стакан с чаем и выплеснула ему в лицо.

* * *

Не знаю, чего я ждала. Наверное, того, что он закричит, схватится за глаза, а я тем временем убегу. Обычно так и бывает.

Было иначе.

Чай, вылетев из стакана, не расплескался. Он собрался в воздухе в одну тугую струю, как вода из пожарного рукава, и ударил Штольцу в лицо с такой силой, что его отбросило вместе со стулом. Стул опрокинулся, Штольц полетел на пол, задел соседний столик, и купцы вместе с лесом и графинчиком водки посыпались на него сверху. Чая в стакане было пол-стакана. Штольца им облило с ног до головы, будто окатили из ведра. От него валил пар.

В буфете закричали.

Я уже бежала.

К двери было нельзя, там стояли двое в поддёвках. Я бросилась к окну. Окно было высокое, в три аршина, с латунной ручкой. Я дёрнула ручку, рама распахнулась, и я, путаясь в юбке, вылезла на подоконник и спрыгнула на перрон. Сзади закричали ещё громче. Свистнул жандарм.

Перрон. Варшавский экспресс, синие вагоны. Проводники, носильщики, пассажиры. Пар.

Я нырнула в пар.

Он был густой, горячий, мокрый, и в нём не было видно ничего дальше вытянутой руки. Я бежала вдоль вагонов, придерживая шляпку, и слышала за собой тяжёлый топот са-

пог. Двое в поддёвках. Они не кричали, просто бежали, ломились сквозь толпу.

Паровоз впереди дал гудок, длинный, оглушительный. Состав дёрнулся. Залязгали буфера.

Я спрыгнула с перрона на пути.

Между путями было скользко: шпалы, мазут, щебень, лужи. Слева шёл экспресс, медленно, набирая ход, колёса громыхали у самой моей головы. Справа стоял товарный состав: длинный, бурый, бесконечный, с надписями мелом на дверях вагонов. Я побежала между ними по узкой полосе щебня, в которую едва помещались мои ноги.

Сзади спрыгнул один из преследователей. Я услышала, как его сапоги хрустнули по щебню.

Впереди, у товарного вагона, чья дверь была приоткрыта на аршин, сидела старуха.

Обыкновенная деревенская старуха, в полушубке, в сером пуховом платке, повязанном так, что видно было только нос и глаза. Она сидела на краю вагонного пола, свесив ноги в валенках, и лузгала семечки. Шелуха падала на щебень. Когда я пробегала мимо, она посмотрела на меня. Глаза у неё были жёлтые, как у совы, круглые, с вертикальными зрачками.

— Сюда, поручительница, — сказала она, протягивая мне руку. — Сюда, лапушка. Залезай.

Рука у неё была сухая, жёсткая и очень сильная. Она втащила меня в вагон одним рывком, как мешок картошки. Внутри было темно, пахло сеном и навозом. Старуха толкну-

ла меня в угол, на солому, и накрыла сверху своим пуховым платком. Платок оказался огромным, как одеяло, тёплым и пахнущим полынью.

— Сиди, — сказала старуха. — Сиди тихо. Не дыши.

Я сидела под платком и не дышала.

Снаружи хрустнул щебень. Остановился у двери вагона. Чей-то сиплый голос спросил:

— Эй, бабка. Тут барышня не пробегала? В шляпке?

— Пробегала, милок, — ответила старуха. — Туда вот побежала. К водокачке. Шибко бежала, как коза.

— Врёшь, старая.

— А ты залезь, проверь. Только у меня тут, милок, телёнок больной. Ящур у него. Залезешь — твой будет.

Тишина. Потом сиплый голос выругался, и сапоги захрустели прочь, в сторону водокачки.

Я сидела под платком. От него было тепло, впервые с прошлой ночи по-настоящему тепло. Где-то снаружи гудели паровозы, лязгали буфера, кричал жандарм. Под платком было тихо и темно, и полынью пахло так, как пахло в детстве на даче в Сиверской, когда мама была ещё жива.

Не знаю, сколько я там просидела. Может быть, полчаса. Потом платок с меня сдёрнули.

Старухи в вагоне не было. Вагон был пустой: солома, сено, навоз. Никакого телёнка. В дверях стоял железнодорожный сторож с фонарём и смотрел на меня с изумлением.

— Ты чего тут, барышня? — спросил он. — Это ж порож-

няк. Его на Лугу гонят.

Я вылезла из вагона, отряхнула солому с пальто и пошла, не отвечая. На щебне у двери лежала горка шелухи от семечек. Больше ничего.

* * *

Домой, на Пески, я добиралась три часа. Пешком, переулками, проходными дворами, через Измайловский полк, через Обводный, через задворки Лиговки. Дважды я пряталась в подворотнях, когда мне казалось, что за мной идут. Один раз действительно шли: какой-то пьяный мастеровой, который хотел спросить, как пройти к Сенной. Я не сразу смогла ему ответить: у меня стучали зубы.

Я думала.

Штольц сказал: «До двадцатого ноября». Граф ночью в ванной сказал: «Сначала посмотрим, кто её прислал. Если Гриммель, то я хочу знать наверняка». Дама в вуали заплатила полторы тысячи и пропала. Ремер сказал: «Мне обещали…» и замолчал. Отец оставил Ремеру нож за день до смерти.

Кусочки не складывались. Они лежали у меня в голове, как осколки разбитой чашки, которую принесли в лавку в узелке. Все тут, но склеить не получается, потому что ты не знаешь, как она выглядела целой.

Одно я понимала. Меня использовали. Граф был прав: сунули в замок, как отмычку, повернули. Теперь отмычку хотят забрать и держать у себя до двадцатого ноября, а потом…

«А после двадцатого вам больше ничего не понадобится».

Я поднялась по чёрной лестнице на свой третий этаж. Дверь в квартиру была не заперта. Я толкнула её и вошла в кухню.

Костя сидел за столом. Горел, как печь, и лицо у него было бледное, только на щеке ярко светилась красная ладонь. Он поднял на меня глаза.

— Слава богу, — сказал он. — Галка, где ты была? К тебе приходили.

У меня похолодело внутри. Хотя куда уж больше.

— Кто?

— Из полиции. Из сыскной. Надворный советник Брандт, Карл Фёдорович. Вежливый такой, с усиками. Спрашивал про какую-то купчиху Пухову на Загородном. Про сеанс. Сказал, на тебя жалоба. От племянника, что ли. — Костя помолчал. — Сказал, вечером зайдёт ещё. И чтобы ты, как он выразился, никуда не отлучалась из города.

Он снова помолчал, глядя куда-то мимо меня. На окно.

— И ещё, Галка. Я не знаю, как это сказать. Только ты не думай, что я брежу. Когда он ушёл… Я подошёл к окну, хотел посмотреть, куда он пойдёт. А на стекле…

Я обернулась к окну.

Стекло было запотевшее, как бывает, когда на кухне кипит чайник. Но чайник не кипел, плита давно остыла. На запотевшем стекле, изнутри, кто-то вывел пальцем буквы. Старые, угловатые, с хвостами и титлами. Те же, что на грифель-

ной доске у Пуховых.

Пока я смотрела, по буквам стекали капли. Одна за другой, сверху вниз. Как по циферблату.

ДО ЛЕДОСТАВА ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ.

Глава 6. Охота

Надворный советник Карл Фёдорович Брандт пришёл в семь вечера, как обещал. Пунктуальность — первое, что я в нём заметила. Второе — то, что он мне понравился. Это меня насторожило. Мне редко нравятся люди с первого взгляда, а те, кто нравится, обычно потом обходятся дороже всех.

Он был невысокий, ладный, лет сорока, в штатском. Тёмный сюртук, серый галстук, булавка с маленьким жемчугом. Чёрные волосы гладко причёсаны, чёрные усики подстрижены коротко, по-английски. Лицо доброе, немного усталое, с мешками под глазами, как у человека, который много читает при плохом свете. Он снял котелок в дверях, вытер ноги о половик, извинился за беспокойство и согласился выпить чаю.

Я налила ему чаю. Себе тоже. Руки держала на столе, чтобы он видел: ничего не прячу. Рукав на правой руке был застёгнут на все пуговки.

— Аглая Ильинична, — сказал Брандт, помешивая сахар, — я буду с вами откровенен, потому что вы, по-моему, человек умный. На вас поступила жалоба. От господина Аркадия Петровича Пухова, студента юридического факультета. Он утверждает, что двадцать шестого октября вы, выдавая себя за медиума под именем мадам Сибилла, путём обмана получили от его тётки, вдовы Пуховой, пятьдесят рублей. Кроме

того, он утверждает, — Брандт заглянул в блокнот, — что вы похитили у него из кармана гальваническую батарею от электрического фонаря.

— Батарею я вернула.

Брандт поднял на меня глаза и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, тёплая, с морщинками у глаз.

— Это я знаю. Он и сам признаёт, что вернули. Это, знаете ли, весьма путает его жалобу. Похитили — и вернули. — Он покачал головой. — Аглая Ильинична, я двенадцать лет в сыскной полиции. Я видел медиумов из Парижа, из Варшавы и из Конотопа. Я знаю, как светятся перчатки и как стучат в стену войлочной колотушкой. Скажу вам честно: если бы дело было только в этом, я бы не пришёл. Вдова Пухова от вас в восторге. Она нашла деньги, которые иначе нашёл бы её племянник. Она говорит, что вы святая. Ну, а суд… — он развёл руками, — суд не любит дела, где потерпевший восхищается обвиняемой.

— Тогда зачем вы пришли?

Брандт отпил чаю, поставил стакан, сложил руки на столе.

— Затем, что вы мне интересны, — сказал он. — И затем, что мне за вас неспокойно.

— За меня?

— Сегодня днём на Варшавском вокзале, в буфете первого класса, некая барышня в шляпке с вуалеткой облила стаканом чая господина Штольца. Гуго Карловича Штольца, секретаря господина Гриммеля. Аристарха Вольдемаровича

Гриммеля. Вы, вероятно, слышали эту фамилию.

— Слышала.

— Кто ж не слышал. Электрическое освещение, «Северный свет», станция на Обводном. Член городской думы. Благотворитель. Председатель общества… как бишь его… «Белого Света». Спиритического, кстати. — Брандт посмотрел на меня внимательно. — Господин Штольц получил ожоги лица. Чай был, видимо, очень горячий. Свидетели говорят, что барышня выплеснула его, и его отбросило на пол вместе со стулом. Один купец утверждает, что барышня облила его из ведра. Ведра там не было.

Я молчала.

— Барышня выпрыгнула в окно на перрон и скрылась на путях. Описание: невысокая, тёмно-русая, лет двадцати пяти, серые глаза. Маленький шрам на подбородке. — Он посмотрел на мой подбородок. — Господин Штольц, однако, отказался подавать заявление. Сказал, что произошло недоразумение. Что он сам опрокинул стакан. Это странно, вы не находите? Человек с ожогами лица говорит, что облился сам.

— Очень странно, — согласилась я.

Брандт вздохнул. Посмотрел в стакан, будто искал там ответ.

— Аглая Ильинична, я не знаю, во что вы ввязались. Не знаю и, может быть, не хочу знать. Но я знаю господина Гриммеля. Вернее, знаю, что о нём говорят люди, которые мало говорят. Он уважаемый человек. Очень уважаемый. А

вокруг очень уважаемых людей иногда тонут те, кто им мешает. — Он помолчал. — Пять лет назад в Фонтанке утонул один реставратор. Илья Сомов. Ваш отец, если не ошибаюсь.

У меня в руках дрогнул стакан. Чай в нём пошёл рябью. Я поставила стакан на стол.

— Дело закрыли за отсутствием состава, — продолжал Брандт тихо. — Пьяный упал с моста. Я тогда был младшим чиновником. Я видел тело. Ваш отец не был пьян, Аглая Ильинична. Я в этом уверен. Но доказать ничего не мог.

Он встал, надел котелок, поправил его.

— Я не прошу вас ничего мне рассказывать, — сказал он уже от двери. — Пока. Но если вам понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Офицерская улица, двадцать восемь, сыскное отделение. Спросите меня. — Он улыбнулся своей хорошей улыбкой. — А пока прошу вас, не уезжайте из города. И не пейте чай с незнакомыми господами.

Он ушёл. Костя, который весь разговор просидел в соседней комнате за приоткрытой дверью, вышел, сел на его стул и посмотрел на меня.

— Он хороший, — сказал Костя.

— Может быть.

— Он про папу правду сказал. Ты сама всегда говорила, что папа не пил.

— Говорила.

— Тогда почему у тебя такое лицо?

Я не знала. Посмотрела на стакан, из которого пил Брандт.

Чай в нём был спокойный, неподвижный, гладкий, как стекло. Это ничего не значило. Совсем ничего.

* * *

В девять я отвезла Костю к Нюте.

Нюта жила на Лиговке, в доме, где снимали комнаты цирковые: акробаты, наездницы, клоуны на покое, шпагоглотатель Абдулла, который на самом деле был татарин из Касимова и звали его Гаяз. Это был самый безопасный дом в Петербурге. Если какой-нибудь чужой человек начнёт спрашивать там про рыжую Нюту, через пять минут о нём будут знать все, а через десять он окажется в Лиговском канале с гирей на ноге и не поймёт, откуда она взялась.

Костя не хотел ехать. Говорил, что он мужчина, что сам будет меня защищать. Нюта сказала ему, что мужчина в лихорадке защищает только подушку, и уложила на свою кровать, а сама села на подоконник. Костя заснул через пять минут. Я посидела рядом, послушала, как он дышит, потрогала лоб. Горячий справа, ледяной слева. Красная ладонь на щеке светилась в темноте, как уголёк.

Фиалковый конверт лежал у меня на Песках в отцовском ящике, под старыми афишами. Полторы тысячи и мои сто восемьдесят — не хватало семисот двадцати, а Лихомановы частями не берут. И трогать эти деньги мне теперь было тошно: я знала, за что мне их заплатили.

Завтра среда. Первое ноября.

— Куда ты? — спросила Нюта, когда я встала.

— К Ремеру. У него остались папины бумаги. Ящик в кладовой. Я никогда его не открывала, не могла. Теперь, кажется, придётся.

— Ночью?

— Днём мне туда нельзя. Днём меня там ищут.

— Я с тобой.

— Ты с ним, — сказала я. — Если он проснётся, а ни тебя, ни меня нет, он пойдёт меня искать. Больной, по Лиговке, ночью.

Нюта посмотрела на Костю, потом на меня. Она умела смотреть так, что становилось стыдно, хотя стыдиться было нечего.

— Если тебя завтра не будет к утру, — сказала она, — я пойду к твоему графу и залезу ему в окно. И буду там сидеть, пока он не скажет, где ты.

— Он не мой граф.

— Это ты так думаешь, — сказала Нюта.

* * *

У меня был ключ от задней двери мастерской. Ремер дал мне его в первый же год, когда я начала оставаться допоздна. Я вошла со двора тихо, как всегда, и не зажигая света прошла через мастерскую к кладовой. Пахло, как всегда, заячьим клеем, скипидаром, политурой. Пахло домом. Единственное место в городе, где я с девятнадцати лет чувствовала себя спокойно.

Ремера не было. Он жил наверху, на втором этаже, над

лавкой. Окна там были тёмные.

Я дошла до середины мастерской и остановилась.

Пахло не только клеем. Пахло холодом. Тем самым, ноябрьским, речным, каким пахнет набережная, когда ветер с залива. Каким пахло в доме на Мойке.

— Не зажигайте свет, — сказал голос из темноты. — Или зажигайте. Как вам удобнее.

Я зажгла.

Спичка вспыхнула у меня в пальцах. Я поднесла её к керосиновой лампе на верстаке, подкрутила фитиль, и мастерская вынырнула из темноты: верстаки, банки, кисти, рамы, старое кресло Ремера у печки. В кресле, положив ногу на ногу, сидел граф Ладожский.

На коленях у него лежал Вильгельм. Лежал на спине, задрав все четыре лапы, и мурлыкал так громко, что слышно было через всю комнату. Граф гладил его по животу рукой в серой замшевой перчатке.

Вильгельм никому не позволял гладить себя по животу. Даже Ремеру. Меня за такое он однажды укусил до крови.

— Предатель, — сказала я коту.

— Он умнее вас, — сказал граф. — Он сразу понял, кто здесь не опасен.

— Вы считаете себя неопасным?

— Сейчас — да. — Он поднял на меня глаза. — А вот вы, Аглая Ильинична, сейчас самое опасное существо в этом городе. И, кажется, ещё этого не поняли.

* * *

Я села на табурет напротив него, через верстак. Между нами горела лампа. Нож отца лежал у меня в рукаве, рядом с отмычками. Я об этом помнила.

— Как вы сюда вошли?

— Через дверь. Ремер оставил её открытой. Он вообще оставил мне много открытых дверей сегодня. Я был у него днём. Мы поговорили. Он рассказал всё, что знал. Знал он немного, но этого хватило.

— Где он?

— У себя наверху. Пьёт. Он плакал, Аглая Ильинична. Шестидесятитрёхлетний немец, сын пастора, плакал у меня на плече, как ребёнок, и просил прощения. У меня, у вас и у вашего покойного отца. По очереди. — Граф перестал гладить кота. — Я его не убил. Хотя собирался.

Я поняла, что он говорит серьёзно.

— Почему?

— Потому что он не знал. Он думал, что вы просто украдёте печать. Ему обещали погасить закладную за лавку. Ему не сказали, что внутри. Ему вообще мало что сказали. Его использовали так же, как вас. — Граф чуть наклонил голову. — Как и меня, впрочем. Я тоже был уверен, что вы просто украдёте печать.

— Вы знали, что я приду за ней.

Он не стал отрицать.

— Знал. Вода сказала. Вода говорит мне… говорила мне

многое. Двадцать шестого октября вода сказала мне, что в город пришла чужая рука, которая тянется к печати. Я хотел знать, чья это рука и кто её направляет. Я пустил вас в дом, чтобы посмотреть, куда вы её понесёте. Я думал, что вы отдадите печать, и я узнаю, кому. Что я пойду за вами, найду того, кто вас нанял, и наконец смогу… — он оборвал себя. — Мне не пришло в голову, что вы её откроете. Ни мне, ни Гриммелю, ни кому-нибудь ещё. Никто, кроме нашего рода, не знал, что она открывается. Даже Ремер не знал. А вы просто посмотрели и увидели шов.

— Я реставратор.

— Вы сказали. — Он снова начал гладить кота. — Я плохо подумал о реставраторах.

* * *

— Объясните мне, — сказала я. — Что я взяла.

Граф долго молчал. Лампа шипела. Вильгельм мурлыкал. За окном мастерской, во дворе, капало с крыши. Я слышала каждую каплю, слышала, как она падает в лужу и как лужа шепчет: «Поручительница».

— Вы знаете, на чём стоит этот город? — спросил он наконец.

— На сваях. На болоте.

— На болоте, — повторил он. — Да. Только болото было не ничьё. До Петра, до шведов, до новгородцев здесь, в дельте, жил… — Он поискал слово. — Хозяин. У него нет имени, которое можно произнести. Ижоры и чудь звали его

разными именами, но ни одно не настоящее. Это старое существо, Аглая Ильинична. Старше всех, кого вы видели прошлой ночью. Старше Невы, может быть. Вся эта земля — его. Каждая кочка, каждый ручей, каждая ива на острове.

— И Пётр построил на ней город.

— Пётр построил на ней город. Он не спрашивал разрешения. Он вообще никогда ни у кого не спрашивал разрешения. — Неровная улыбка мелькнула и пропала. — Первые годы город тонул. Сваи уходили в трясину, люди умирали тысячами. От болезней, говорили потом историки. От голода, от сырости. Это правда. Но не вся. Хозяин брал своё. Он не хотел города на своей земле. И тогда мой предок, Ингвар Ладога, сделал то, что умели делать только в его роду. Он пошёл к Хозяину и договорился.

— О чём?

— О займе. — Граф произнёс это слово так, будто оно было горьким. — Город стоит на земле Хозяина взаймы, Аглая Ильинична. А за заём платят проценты. Ингвар стал поручителем. Он поручился своей кровью и кровью своего рода, что город будет платить. Каждый год. Каждый ледостав. Пока стоит город.

— Чем платить?

Он посмотрел на свои руки в перчатках.

— Чем Хозяин скажет. Когда годами. Когда теплом. Когда памятью. Когда… — Он не договорил. — Поручитель платит за весь город. Из себя. Это и есть клятва, которая двести

десять лет спала в печати. Её передают от отца к сыну. Отец открывает рукоять, сын роняет каплю крови на землю. Мне её передали шесть лет назад, когда умер отец.

Я смотрела на его седую прядь. На перчатки. На то, как он держит руки: осторожно, будто они чужие.

— А потом её взяла я.

— А потом её взяли вы. — Он сказал это без злобы. Почти мягко. — Ваша кровь упала на землю. Земле всё равно, чья кровь, если её дали при открытой рукояти. Она не умеет отличать сына от воровки. Теперь поручитель — вы. Вода слушает вас. Старые существа кланяются вам. Вас нельзя убить никому из них. А людям — только в одну ночь в году.

— В ночь ледостава.

— В ночь ледостава. Когда Нева встаёт, когда вода замерзает и граница между тем и этим становится тонкой, как первый лёд. В эту ночь поручитель платит. И в эту ночь его можно убить.

Я вспомнила Штольца: «А после двадцатого вам больше ничего не понадобится».

— Гриммель хочет меня убить.

— Гриммель хочет вашу клятву. — Граф подался вперёд, и свет лампы упал ему на лицо. Резкие тени, белая прядь, сухие складки у рта. — Он уже лет десять ищет способ её забрать. Он думает, что поручитель — не плательщик, а хозяин. Что тот, кто держит клятву, может повелевать старыми существами. Отчасти он прав. Если убить поручителя в ночь

ледостава правильным образом, в правильном месте, клятву можно поймать. Перехватить, как перехватывают на лету брошенную монету. Он нашёл способ, я уверен. Ему не хватало только одного. Ему нужно было, чтобы клятва вышла из моего рода. Потому что меня, — он усмехнулся, — убить затруднительно. Не потому, что я такой ловкий. Потому что, если я умру, клятва не перейдёт ни к кому. Она просто порвётся.

— И что тогда?

— Тогда долг города станет некому платить. И Хозяин заберёт его весь. Сразу.

Он посмотрел в окно, во двор, где капало с крыши.

— Вы видели наводнение двадцать четвёртого года? Восемьсот двадцать четвёртого? Нет, конечно. Я тоже. Но я читал записки деда. Вода поднялась на одиннадцать футов. Люди тонули на Невском. По улицам плавали гробы со Смоленского кладбища. Это случилось, потому что мой прадед попытался не заплатить. Всего один раз. Его хватило. — Он помолчал. — Если поручитель умрёт, не передав клятву, будет хуже. Гораздо хуже. Вода заберёт всё. Весь город. До последней сваи.

В мастерской было тихо. Вильгельм перестал мурлыкать и смотрел на меня жёлтыми глазами.

— Значит, — сказала я медленно, — если меня убьют в ночь ледостава «неправильно»…

— Петербург утонет.

— А если правильно?

— Гриммель станет поручителем. И хозяином всех старых существ города. А вы будете мертвы.

— А если меня не убьют вовсе?

— Тогда в ночь ледостава вы заплатите. Сами. Хозяину. — Он смотрел мне прямо в глаза. — И я не знаю, что он с вас возьмёт. С меня он брал годы. С отца — двадцать лет жизни за одну ночь. С вас, с человека не того рода, с воровки, которая взяла клятву без спроса…

Он не договорил.

— Так что, Аглая Ильинична, — сказал он после паузы, уже другим голосом, сухим, деловым, — я не могу вас убить. Я не могу позволить, чтобы вас убил Гриммель. Я не могу позволить, чтобы вы утонули, попали под трамвай или умерли от воспаления лёгких, хотя после вчерашнего купания это было бы вполне естественно. До ледостава вам придётся жить. Под моим присмотром.

* * *

— Нет, — сказала я.

Он поднял бровь.

— Нет?

— Нет. Под вашим присмотром — нет. Вы меня использовали. Вы пустили меня в дом, чтобы посмотреть, кто меня послал. Вы знали, что я приду, и ждали. Как ждут мышь у мышеловки. Вы ничем не лучше Гриммеля, ваше сиятельство. Вы просто первым поставили сыр.

Это было несправедливо, и я это знала. Мне было всё равно. Мне было холодно, страшно, и я устала быть отмычкой в чужих руках.

Граф молчал. Потом вдруг кивнул.

— Справедливо, — сказал он. — Почти. Я действительно ставил сыр. Я действительно хотел посмотреть, кто вас послал. Я до сих пор не уверен, что вас послал не Гриммель.

— Его секретарь пытался затащить меня в экипаж на Варшавском вокзале.

— Знаю. Я также знаю, что вы облили его чаем так, что его отбросило на пол. Вы и вода. — Он посмотрел на меня оценивающе, как на табакерку из Варшавы. — Это могло быть представление. Для меня. Чтобы я поверил, что вы ни при чём. Вы ведь умеете давать представления, мадам Сибилла.

У меня от злости потемнело в глазах.

— Если бы я работала на Гриммеля, — сказала я, — я бы сейчас сидела у него в гостиной, пила бы шампанское и ждала двадцатого числа. А не мёрзла бы в мастерской с человеком, который подозревает меня в том, что меня пытаются похитить по сговору с похитителями.

— Возможно, — сказал он. — А возможно, Гриммель не сказал вам, что будет двадцатого.

Мы смотрели друг на друга через лампу. Вильгельм переводил взгляд с него на меня и обратно, как зритель в цирке на канатоходцев.

Он сдался первым. Это меня удивило.

— Хорошо, — сказал граф. — Я не могу вам доверять. Вы не можете доверять мне. Это честно. Это даже удобно: никаких иллюзий. Но у нас с вами одна беда, Аглая Ильинична, и одна вода. Двадцать дней до ледостава. Если мы ничего не сделаем, в ночь на двадцатое вы умрёте. Либо от рук Гримметя, либо от Хозяина. И город, возможно, вместе с вами.

— А если сделаем?

— Есть способ вернуть клятву. — Он сказал это медленно, будто каждое слово стоило ему денег. — Вернуть её в мой род. Встречный обряд. Он трудный, и нужны для него вещи, которых у меня нет. Я расскажу вам всё. Завтра, у себя в библиотеке. Там книги, которые помогут понять.

— И если мы её вернём? Что будет с вами?

Он ответил не сразу.

— Я снова стану поручителем.

— Это я поняла. Что будет с вами?

Он взвесил меня взглядом, как ювелир взвешивает камень без лупы. Потом хмыкнул, коротко, носом, как хмыкают, когда партнёр по висту неожиданно хорошо сыграл. В этом коротком звуке было что-то, отчего мне захотелось отвернуться.

— Вы задаёте неправильные вопросы, Аглая Ильинична, — сказал он. — Вам надо спрашивать, что будет с вами.

— А что будет со мной?

— Будете жить. Если повезёт.

Это было похоже на правду. Почти вся правда — как его

«справедливо, почти».

* * *

Он встал, снял Вильгельма с колен и бережно положил его в кресло. Кот возмущённо мяукнул. Граф взял со спинки кресла пальто, длинное, тёмное, на меху, и вдруг протянул его мне через верстак.

— Наденьте.

— Мне не холодно.

— У вас губы синие. И вы дрожите с той минуты, как вошли. Это не страх, Аглая Ильинична, страх у вас выглядит иначе. Это клятва. Она забирает тепло. Меня она морозила шесть лет. Вас будет морозить сильнее, вы к ней не привыкли. — Он держал пальто на вытянутой руке. — Наденьте. Я не собираюсь вас за это вербовать.

Я надела. Пальто было тяжёлое, длинное, мне до пят, и пахло холодом, табаком и чем-то ещё, сухим, горьковатым, как пахнут старые книги. Под ним сразу стало теплее. Ненамного. Но теплее.

— Спасибо, — сказала я. Сквозь зубы.

— Не за что.

Он пошёл к двери. У порога обернулся.

— Ваш брат, — сказал он. — Ремер сказал, он должен Лихомановым.

— Две тысячи четыреста. До завтра.

Граф кивнул. Лицо у него стало жёстким.

— Вы знаете, кто такие сёстры Лихомановы?

— Хозяйки игорного дома на Екатерининском.

— Сёстры Лихомановы — трясовицы, Аглая Ильинична. Лихорадки. Двенадцать сестёр, старых, как эта земля. Они кормятся теплом. Человеческой жизнью. Каждый, кто проигрывает им, отдаёт немного себя: год, два, десять. Костя проиграл не деньги. Деньги — это так, вывеска для приличия. Он проиграл своё тепло. Если завтра к полуночи долг не будет уплачен, они возьмут его. Всего. Он сгорит за одну ночь, и доктора напишут: «Нервная горячка».

У меня перехватило горло.

— Помогите мне, — сказала я. Не знаю, откуда это взялось. Я никогда никого ни о чём не просила. Это у меня от отца, сказал Ремер.

— Я не могу, — сказал граф. — Они больше не слушают меня. Они слушают вас.

— Меня?

— Вы поручительница. Вы вправе требовать суда. Вы вправе требовать, чтобы они выслушали вас. Любое старое существо в этом городе обязано вас выслушать. Обязано, Аглая Ильинична. Это часть клятвы. Двести лет мои предки судили споры между людьми и нечистью, и последнее слово всегда было за поручителем. Но выслушать не значит согласиться. Трясовицы хитры. Они не откажут вам прямо. Они предложат вам игру. Они всегда предлагают игру.

— И что мне делать?

— Не садиться с ними играть, — сказал граф.

Он открыл дверь. В мастерскую ворвался ночной воздух, мокрый, холодный, пахнущий рекой.

— Завтра в одиннадцать вечера я буду у моста на Екатерининском, у «Дюжины». Если вы туда пойдёте, а вы пойдёте, я буду рядом. Вас нельзя убить, но можно обмануть. А трясовицы обманывают лучше, чем вы.

— Никто не обманывает лучше, чем я, — сказала я.

Он посмотрел на меня через плечо и приподнял бровь: мол, это мы ещё увидим.

— Вот поэтому я и приду, — сказал граф Ладожский. — Посмотреть.

Дверь закрылась. Я сидела в мастерской, закутанная в его пальто, и слушала, как его шаги уходят по двору. Шаги затихли. Где-то далеко, на Литейном, прозвенел последний трамвай.

Вильгельм спрыгнул с кресла, подошёл ко мне, понюхал полу графского пальто, замурлыкал и потёрся о мои ноги. Впервые за пять лет.

— Предатель, — сказала я ему снова. Почесала его за ухом.

Потом встала, взяла лампу и пошла в кладовую, где в дальнем углу, под старыми рамами и рулонами холста, стоял деревянный ящик с отцовскими бумагами. Я не открывала его пять лет.

Открыла.

Глава 7. Дюжина

Отец вёл записи так, как ведут их фокусники: чтобы никто, кроме него, не понял.

В ящике под рулонами холста лежали три толстые тетради в клеёнчатых обложках, пачка писем, перевязанная бечёвкой, папка с эскизами и жестяная коробка из-под монпансье «Ландрин». В коробке были запонки, которые я помнила, и бумажный цветок, которого не помнила, — белая роза, сложенная из папиросной бумаги, пожелтевшая. Мама, наверное. Я положила розу обратно, не разворачивая.

Тетради были исписаны мелким, быстрым отцовским почерком, с наклоном влево. Записи шли то по-русски, то по-немецки, то знаками, которые я узнавала: отцовская стенография, которой он учил меня в двенадцать лет, чтобы мы могли передавать друг другу записки во время представлений. Я сидела в кладовой до рассвета, закутанная в графское пальто, и читала.

Большая часть была о фокусах. Устройство ящика с двойным дном. Как подменить кольцо в платке. Схемы зеркал для «говорящей головы». Расчёт, на какую высоту можно поднять ассистентку на невидимой проволоке, если ассистентка весит три пуда. Я помнила эти фокусы. Некоторые мы делали вместе.

Остальное было не о фокусах.

Эскизы реликвария. Целая папка: створки, резьба, лица с закрытыми глазами, цапли. Подробно, с размерами, с пометками на полях: «дуб, мореный в воде не менее 300 лет», «позолота — не наша, восточная?», «НЕ ОТКРЫВАТЬ средний ящик». Значит, у шкафа был средний ящик. Я его не нашла.

Надпись с карниза, переписанная отцовской рукой. Та самая, которую я скопировала на кальку. Под ней перевод, неполный, с пропусками и знаками вопроса:

«…взаймы дана земля сия… до последней сваи… кровью Ингваровой и чад его… а коли некому платить станет — возьмёт своё…»

И отдельная страница во второй тетради. Вверху, подчёркнуто дважды, одна буква: «Л.».

«Л. Екатерин. кан., у Каменного моста. Двенадцать. Не садиться. Не садиться никогда. О. читает руки по теплу — карту, которую держал, найдёт с завязанными глазами. Холодную руку ей не прочесть. Холодных они не видят: для них холодный — всё равно что мёртвый. Гр. просил узнать про Л. — отказался».

«Гр.» Я долго смотрела на эти две буквы. Потом закрыла тетрадь.

Свою правую руку я в ту ночь отогревала дыханием четыре раза. Каждый раз через пять минут она снова становилась холодной, как у покойницы.

* * *

Утро первого ноября было серое, мокрое, с ветром. Я про-

вела его у Нюты на Лиговке, у Костиной кровати.

Ему было хуже. Ночью у него начался бред: он звал маму, звал отца, потом начал спорить с кем-то о картах, о том, что у него была десятка бубён, а не девятка, что его обманули. Красная ладонь на щеке разрослась: теперь пальцы тянулись к виску и к уху, и вся правая половина лица горела, как ошпаренная. Левая была ледяная, восковая, с синевой под глазом. Граница между ними шла по носу и подбородку, ровная, как по линейке.

Нюта меняла ему компрессы каждые полчаса. Шпагоглотатель Гаяз принёс какой-то татарский травяной сбор и долго шептал над Костей молитвы. Наездница мадемуазель Жюли, которая на самом деле была Юлией Сидоровной из Твери, принесла банку малинового варенья и сказала, что её бабушка лечила лихорадку так: выводила больного к проруби и трижды кричала «Отвяжись, лихоманка!». Что прорубей ещё нет и до ледостава девятнадцать дней, Юлия Сидоровна не знала. Я знала.

Около полудня Костя пришёл в себя. Посмотрел на меня ясными, лихорадочными глазами.

— Галка, — сказал он. — Мне снилось, что я в бане. А банщица рыжая, красивая, и всё поддаёт и поддаёт. И смеётся. А я не могу встать. — Он облизал сухие губы. — Я дурак, Галка. Прости меня.

— Ты дурак, — согласилась я. — Спи.

Он заснул. Я сидела рядом и держала его за руку. Правая

рука горела, левая была ледяная, и я держала обе.

* * *

В одиннадцать вечера я стояла у Каменного моста на Екатерининском канале.

Это старый мост, первый каменный в городе. Горбатый, с чугунными перилами, с фонарями. Под ним чёрная вода, на воде палые листья. Говорят, народовольцы когда-то закладывали под ним динамит, чтобы взорвать царя, да не успели. Говорят, в тридцатые годы здесь собирались разбойники. Много чего говорят. Я сама на Литейном рассказывала покупателям, что в этом месте видели призрак утопленницы в подвенечном платье.

Теперь я знала, что, может быть, не врала.

Утопленницу я не увидела. Но под мостом, у самой воды, на каменном выступе, сидел старик в зелёном армяке и удил рыбу. Удочка у него была из камыша, а леска уходила в воду, светясь, как нить фосфора. Когда я подошла к перилам, он поднял голову. Лицо у него было синее, одутловатое, с бородой из тины. Он приподнял картуз.

— Доброй ночи, поручительница, — сказал он булькающим голосом. — В «Дюжину» никак?

— В «Дюжину».

Старик покачал головой и вернулся к удочке.

— Зря, — сказал он воде. — Ох, зря.

— Вы опоздали на четыре минуты, — сказал голос у меня за спиной.

Граф стоял у фонаря. В длинном тёмном пальто (другом, не том, что отдал мне — то висело у Нюты на гвозде), в шляпе, в перчатках. Лицо в свете фонаря было бледным и спокойным.

— Мне кажется, у вас все часы в голове спешат на четыре минуты, ваше сиятельство.

— В моих часах всё в порядке. Это вы опаздываете. Систематически. — Он посмотрел на меня. — Вы не передумали?

— Нет.

— Я так и думал. — Он кивнул на дом за каналом. — Вон она.

* * *

Дом был ничем не примечательный. Трёхэтажный, жёлтый, облупленный, как сотни домов на Екатерининском. Внизу — мелочная лавка, закрытая ставнями. Наверху — квартиры с тёмными окнами. Только окна второго этажа светились. Все двенадцать, в ряд, красным, тёплым светом, как светятся окна бани зимним вечером. Из форточек валил пар.

— Вывески нет, — сказала я.

— Вывеска им не нужна. Кто должен, тот найдёт.

Мы перешли мост. У подъезда стоял швейцар: огромный, толстый, в ливрее с галунами, с бородой веником. Когда я подошла, он посмотрел на меня маленькими белёсыми глазками и отступил в сторону, кланяясь. Когда подошёл граф, швейцар загородил дверь.

— Его сиятельство не принимают-с, — сказал швейцар тонким бабьим голосом, совсем не подходящим к его туше. — Его сиятельство больше не поручитель-с. Вход для гостей-с.

— Он со мной, — сказала я.

Швейцар посмотрел на меня. На графа. Опять на меня.

— Поручительница велит?

— Велит, — сказала я.

Швейцар поклонился и отступил. Граф прошёл мимо него, не взглянув. Только на лестнице, когда мы поднимались, тихо сказал:

— Благодарю.

— Не за что. Вы мне вчера пальто дали.

— Это было не одолжение.

— Это тоже, — сказала я.

* * *

Наверху было жарко, как в парной.

Воздух стоял густой, влажный, тяжёлый, пахнущий распаренным берёзовым листом, вином и потом. Мы вошли в длинную залу, обитую красным штофом. Окна закрыты тяжёлыми бархатными портьерами, вдоль стен кожаные диваны, посередине столы под зелёным сукном. Над столами висели лампы под красными абажурами, и от них всё казалось красным: лица, руки, карты, вино в бокалах.

Игроков было человек тридцать. Офицеры, купцы, чиновники, студенты, двое господ во фраках, видимо, прямо из

театра. Все красные, распаренные, с мокрыми волосами, с расстёгнутыми воротниками. Играли молча, сосредоточенно, жадно, как пьют воду в жару. Кое-кто тяжело дышал. Один старик в генеральском сюртуке сидел, откинувшись на спинку кресла, с закрытыми глазами, и его трясло, мелко-мелко, как в ознобе. На него никто не обращал внимания.

Новым зрением я видела больше.

Над каждым игроком, над головой, светилось что-то вроде дымка. Тёплое, золотистое, как пар над чашкой чая. Дымок тянулся тонкими нитями к столам, к тем, кто банковал. А банковали женщины.

Двенадцать женщин.

Они сидели за каждым столом, на месте банкомёта, и метали карты. Все разные и все чем-то похожие, как бывают похожи сёстры от разных отцов. У одной, рыжей, худой, тряслись руки, мелко и непрерывно, но карты ложились ровно. Другая, белокурая, с голубоватой кожей, кутала плечи в горностаевую накидку, будто ей было холодно в этой парной. Третья была жёлтая, как воск, с жёлтыми белками глаз. Четвёртая — толстая, оплывшая, с отёчными руками, едва помещалась в кресло. У пятой был такой пристальный взгляд, что игрок напротив неё не мог поднять глаз от карт. Шестая всё время прижимала руку к груди и коротко кашляла.

И все они пили, только вовсе не вино. Золотистый дымок, который тянулся к ним от игроков, они вдыхали, втягивали в себя медленно, с наслаждением, прикрывая глаза. С каждым

вдохом игрок напротив бледнел, и его начинало трясти чуть сильнее.

— Трясея, — тихо говорил граф, проходя мимо столов. — Ледея. Желтея. Пухнея. Глядея. Грудея. Лихорадки. Все двенадцать.

Двенадцатая сидела в углу, отдельно от всех, за маленьким столиком без карт.

Она была очень молодая, моложе меня, почти девочка. Тонкая, как прутик, в чёрном платье с высоким воротом, в чёрной вуали, которая падала ей на лицо до подбородка. Под вуалью виднелись бледные губы. Она не играла, не пила, не двигалась. Просто сидела, сложив руки на коленях, и смотрела сквозь вуаль на залу. Вокруг неё на пол-аршина не было никакого пара. Никакого тепла. Там стоял холод, хуже, чем от меня.

— Невея, — сказал граф совсем тихо. — Младшая. Не смотрите на неё долго.

Я отвела глаза.

* * *

В конце залы, у камина, в котором гудело пламя, стояло кресло, широкое, обитое малиновым бархатом. В кресле сидела женщина.

Ей можно было дать и тридцать, и пятьдесят. Красивая: тяжёлой, яркой, бесстыдной красотой, какую рисуют на рекламах папирос «Зефир». Волосы огненно-рыжие, высоко уложенные, с гребнем из чернёного серебра. Платье малино-

вое, бархатное, с глубоким вырезом, открывающим плечи, белые и полные. На груди — ожерелье из гранатов, крупных, как вишни. Губы красные. Глаза тёмные, блестящие, как угли, которые вот-вот разгорятся.

От неё шёл жар. Я почувствовала его за три шага, как от открытой печи.

Она смотрела на меня и улыбалась.

— Поручительница, — сказала она низким, бархатным голосом, протяжно, будто пробовала слово на вкус. — Новенькая. Слыхали, слыхали. Ладожского обокрала. — Она перевела взгляд на графа. — А это кто с тобой? Неужто сам бывший? Северин Аркадьевич, голубчик, без клятвы-то вы совсем не страшный. Тёпленький стали. Вкусный.

— Огнея Тихоновна, — сказал граф и слегка поклонился. — Вы, как всегда, очаровательны.

— А ты, как всегда, врёшь, — засмеялась она. — Садись, поручительница. Говори, зачем пришла. Хотя я знаю зачем.

Мне пододвинули стул. Я села. Граф остался стоять у меня за спиной. Я его не видела, но чувствовала: холод за плечом, как сквозняк.

— Мой брат, — сказала я. — Константин Сомов. Он вам должен.

— Две тысячи четыреста, — кивнула Огнея. — Денежки принесла?

— Нет.

— Ай-ай-ай. — Она покачала головой, и гранаты на груди

качнулись. — Тогда, голубушка, о чём говорить? Долг есть долг. Мальчик сел сам, играл сам, проиграл сам. Никто его за руку не тянул. Сегодня в полночь возьмём своё.

— Я требую суда, — сказала я.

Огнея перестала улыбаться.

В зале стало тише. Не совсем тихо: карты продолжали шуршать, игроки дышали, кто-то кашлял. Но сёстры за столами подняли головы и посмотрели на нас. Все одиннадцать. Двенадцатая, в чёрной вуали, не шевельнулась, но мне показалось, что под вуалью она тоже на меня смотрит.

— Суда, — повторила Огнея медленно. — Ишь. Выучила словечко. — Она откинулась в кресле. — А какой спор, поручительница? Где обида? Мальчик проиграл честно.

— Нечестно.

— Докажи.

— Вы читаете руки по теплу, — сказала я. — Вы знаете, какую карту человек держал, по тому, сколько тепла он на ней оставил. Вы знаете его карты лучше, чем он сам. Это не игра. Это шулерство.

Огнея смотрела на меня долго, не мигая. Потом засмеялась, громко, от души, запрокинув голову.

— Шулерство! — повторила она сквозь смех. — Слышите, сестрицы? Шулерство! Мадам Сибилла, которая светящейся перчаткой капитанов по лысине гладит, мне про шулерство толкует!

Сёстры засмеялись за своими столами. Смех был сухой,

трескучий, как треск дров в печи.

— Ох, уморила. — Огнея вытерла глаза кончиком пальца. Палец был белый, полный, с острым ногтем. — Ну ладно. Ну хорошо. Шулерство так шулерство. Только ты, поручительница, вот что пойми: суд у вас, у людей, а у нас — игра. Ладожские двести лет судили — знают. — Она посмотрела на графа поверх моей головы. — Знают ведь, Северин Аркадьевич?

— Знаю, — сказал граф. Голос у него был ровный. — Аглая Ильинична, вам не нужно…

— Сыграем, — сказала Огнея, глядя на меня. — Три кона. Выиграешь два — мальчик твой, долг прощён, всё тепло, что взяли, вернём. Проиграешь — возьмём мальчика. И тебя.

— Меня нельзя убить.

— А кто говорит «убить»? — Огнея улыбнулась. — Тепло твоё возьмём, голубушка. Всё, сколько есть. Жить будешь. До ледостава. Ледышкой. А в ночь ледостава, когда клятва тебя держать перестанет, — она кивнула в угол, на девочку в чёрной вуали, — сестрица младшая придёт за остальным.

Девочка в вуали медленно повернула голову и посмотрела на меня. Я почувствовала её взгляд кожей, как прикосновение мокрого полотенца к лицу.

— Аглая, — сказал граф у меня за спиной тихо. Впервые просто по имени. — Не надо.

Отец написал: «Не садиться. Не садиться никогда».

Отец не знал, что у меня будут холодные руки.

— Согласна, — сказала я.

* * *

Первый кон я проиграла.

Огнея велела принести колоду. Новую, в обёртке, с печатью Императорской карточной фабрики (все карты в империи делали в Петербурге, на одной фабрике, и доход шёл на Воспитательный дом, так что, проигрывая, ты помогал сиротам). Распечатала, перетасовала. Тасовала она красиво, с треском, карты летели у неё между пальцами, как огненные птицы.

— В штосс, — сказала она. — По-простому. Ты выбираешь карту из своей колоды, кладёшь рубашкой вверх. Я мечу. Ляжет твоя карта налево — твоя взяла. Направо — моя.

Я выбрала карту. Даму пик, на удачу. Положила рубашкой вверх. Огнея на неё не посмотрела. Начала метать: налево, направо, налево, направо. Валет, восьмёрка, туз, король, десятка, девятка… Карты ложились быстро, с лёгким шелестом.

Дама пик легла направо.

— Моя взяла, — сказала Огнея с удовольствием.

Я не успела ничего сказать, как в груди у меня что-то дёрнулось, и через секунду я поняла, что дёрнулось у Кости. Далеко, на Лиговке, на Нютиной кровати. Я почувствовала это так ясно, будто он лежал рядом: как у него подскочил жар, как он выгнулся на подушках и застонал. Как Нюта бросилась к нему с компрессом.

Я сжала кулаки под столом.

— Видишь, голубушка, — сказала Огнея мягко. — Это не на копеечки игра.

Я видела. Я видела, как она метала. Ничего. Ни подрезки, ни вольта, ни второй сдачи. Чистые руки. Колода была новая, крапа на ней не было. Она просто знала, где лежит моя дама. Знала, сколько раз нужно перетасовать, куда ляжет каждая карта. Знала, как знают дорогу домой.

Если не видишь, как тебя обманывают, значит, обманывают не руками.

— Второй кон, — сказала я. — Теперь мой выбор игры.

Огнея приподняла бровь.

— Ишь ты.

— По правилам. Первый кон ваш — ваша игра. Второй мой. Так всегда играют.

Сёстры за столами переглянулись. Огнея подумала. Потом махнула полной белой рукой.

— Изволь. Какую?

— «Найди даму».

* * *

Это детская игра. Ею забавляются на ярмарках: три карты, одна дама, ловкие руки, и простаки отдают последние копейки. Только я предложила другое.

— Двенадцать карт, — сказала я. — Одна из них дама. Вы берёте её в руку, держите, сколько хотите, потом кладёте рубашкой вверх среди остальных. Мешаете, как хотите. Я

ищу. Найду — моя взяла.

Огнея засмеялась.

— Голубушка, да ты знаешь, что я тепло на карте оставлю? Ты же сама сказала: я руки по теплу читаю. Так ведь и ты, выходит, найдёшь по теплу. Если сможешь.

— Если смогу, — сказала я.

Она смотрела на меня ещё секунду, весело и чуть презрительно. Ей было интересно. Старым существам интереснее всего то, чего они ещё не видели. А такой глупой воровки, которая предлагает лихорадке искать тепло, она ещё не видела.

Она взяла из колоды даму червей. Подержала в ладонях: долго, нарочно, с улыбкой. Я видела, как карта в её руке потемнела, будто её поднесли к огню. Потом она положила её рубашкой вверх среди одиннадцати других и начала мешать. Быстро, мастерски, обеими руками, по сукну, кругами. Карты сливались в пёстрое пятно. Наконец она остановилась и откинулась в кресле.

— Ищи.

Я сняла перчатку с правой руки.

Огнея увидела серебряную линию на моём запястье и перестала улыбаться.

Я поднесла руку к картам. Ладонью вниз, не касаясь, в полувершке над рубашками. И медленно повела её над столом.

Холодная рука — как стрелка компаса, которую поднесли к железу. Для неё любое тепло громко, как крик. Если бы

руки у меня были, как у всех, тёплые, я бы ничего не почувствовала: в этой бане всё было горячим, сукно, воздух, свечи. Но я уже двое суток не могла согреться. Клятва вымораживала меня изнутри, и пальцы были как сосульки.

Над первой картой — тепло. Ровное, как от всего стола. Над второй тоже. Третья, четвёртая, пятая…

Над седьмой картой мою ладонь будто обожгло. Как будто поднесла руку к раскалённой сковородке.

Я перевернула седьмую карту.

Дама червей.

В зале стало совсем тихо. Даже карты перестали шуршать. Огнея смотрела на даму, потом на меня. Её тёмные глаза перестали блестеть весело. Они блестели теперь как угли, на которые дунули.

— Один — один, — сказала я.

За моей спиной граф издал звук, который у другого человека можно было бы назвать смешком.

* * *

— Третий кон, — сказала Огнея. Голос у неё стал ниже. — Мой выбор.

— Почему ваш?

— Потому что я хозяйка в этом доме. — Она наклонилась ко мне, и жар от неё ударил мне в лицо. — Та же игра, поручительница. Только наоборот. Ты прячешь даму. Я ищу.

Я ждала этого. Самый опасный ход противника — тот, что он подсмотрел у тебя же.

— Найдёте, — сказала я, — вы выиграли. Не найдёте — я.

— Найду, — улыбнулась Огнея. — Ты же холодная, голубушка. Холоднее всех в этом доме. Холодную карту я за версту учую. Ты себе сама петлю сплела.

Она была права. Если я возьму даму в руку, на ней останется холод, мой холод, клятвенный, ледяной. Среди двенадцати горячих карт в этой парной она будет как кусок льда в печке. Огнея найдёт её не глядя.

Я взяла даму пик. Ту самую, которую выбрала в первом коне. Подержала её в правой руке, голой, холодной, как держала Огнея свою, долго, нарочно, с улыбкой. Я видела, как на чёрной рубашке выступил иней. Тонкий, белый, как на окне.

Огнея смотрела и улыбалась.

Я положила даму рубашкой вверх среди одиннадцати карт и начала мешать.

Отец учил меня этому с десяти лет. Он говорил: «Руки фокусника должны быть быстрее глаза, но медленнее подозрения. Если зритель видит, что ты торопишься, он знает, что ты прячешь. Если ты не торопишься, он смотрит не туда». Я мешала медленно. Лениво, кругами, по сукну, как размешивают сахар в чае. Огнея следила за моими руками, и одиннадцать сестёр следили, и граф за спиной следил. Ни один из них не заметил, как на третьем круге моя правая рука взяла со стола заиндевевшую даму, а левая положила на её место восьмёрку треф. Восьмёрку я держала в рукаве с

начала игры, рядом с отцовским ножом и отмычками, а перед этим грела её о свою левую руку… Нет. Левая у меня тоже была холодной. Восьмёрку я перед тем положила на минуту под тёплый подсвечник, пока Огнея смеялась над моим «шулерством».

Даму, всю в инее, я опустила в рукав. А когда перегнулась через стол, чтобы мешать дальше, задела локтем бокал Огнеи, стоявший у её руки. Она подхватила бокал. Я извинилась. Под бокалом, на мокром кругу на сукне, лежала дама пик. Положила я её туда, пока Огнея ловила бокал.

Это заняло полсекунды.

Я перестала мешать.

— Ищите, — сказала я.

Огнея улыбнулась и протянула руку над картами. Медленно, как я. Ладонью вниз. Над первой. Над второй. Над пятой она остановилась.

Над пятой лежала восьмёрка треф, которая полежала под подсвечником. Огнея поморщилась: горячая. Не та. Она повела руку дальше. Над шестой, седьмой, восьмой, над всеми двенадцатью. И остановилась.

Ни одна карта не была холодной.

Я видела, как у неё дрогнули пальцы. Она повела руку обратно, медленнее. Над каждой картой. Снова и снова. Её лицо перестало быть красивым. Оно стало старым, очень старым, как кора на берёзе. Под гладкой кожей проступили морщины, глаза запали, губы истончились. Жар от неё усилился,

и мне показалось, что у меня трещат ресницы.

— Где? — спросила она.

— Здесь, на столе, — сказала я.

— Нет её здесь.

— Есть.

Огнея смотрела на меня, и в её угольных глазах был уже не смех, а что-то другое. Ярость? Любопытство? Восторг? У таких, как она, это, похоже, одно и то же.

— Ищите, — повторила я. — Вы же чуете холодное за версту.

Она искала ещё минуту. Потом медленно убрала руку.

— Не нашла, — сказала она. Будто плюнула.

Я протянула руку и подняла её бокал.

На мокром круге на сукне, под бокалом, лежала дама пик. Иней на ней давно растаял: в этой бане, под бокалом, который Огнея держала в своей горячей руке весь вечер, карта согрелась. Огнея прошла над ней ладонью дважды. Это была самая тёплая карта на столе, теплее даже восьмёрки, и именно поэтому она её не заметила. Она искала холодное.

— Вы искали холодную, сударыня, — сказала я. — А я спрятала тёплую.

* * *

Тишина длилась секунды три. Потом засмеялась Трясея: тряслась, хихикала и не могла остановиться. За ней Глядея. За ней Желтея, хрипло, по-старушечьи. Через минуту хохотали все одиннадцать, хлопали в ладоши, били кулаками по

столам, и игроки, не понимая, в чём дело, смотрели на них осоловелыми глазами.

Не смеялась только девочка в чёрной вуали в углу. И Огнея.

Она смотрела на даму пик. Потом подняла её, повертела в пальцах, понюхала, как Тихон нюхал меня на пороге. Положила обратно.

— Ох и шельма, — сказала она тихо. Почти с нежностью. — Ох и шельма ты, поручительница. Илюшкина дочка. Тот тоже был шельма.

Сердце у меня ударило дважды подряд.

— Вы знали моего отца?

— Кто ж его не знал. — Огнея откинулась в кресле. Лицо её снова стало гладким и красивым, и только в уголках глаз остались тонкие морщины. — Он тут бывал. Не играл, нет. Умный был. Приходил, смотрел. Записывал. По поручению одного господина. Электрического господина, — она криво усмехнулась. — Потом отказался. Сказал, что не станет на него работать. А через месяц утонул. — Она пожала полными плечами. — Бывает.

— Огнея Тихоновна, — сказал граф у меня за спиной. Голос у него был тихий и очень холодный. — Вы проиграли.

— Проиграла, — согласилась она. — Слово есть слово. Вы, люди, не держите, а мы держим. Мальчика отпускаю. Тепло вернём. Долг…

Она замолчала и посмотрела в угол.

Девочка в чёрной вуали встала.

Она была очень маленькая, мне по плечо, тоньше Нюты. Она пошла к нам через залу, и игроки, мимо которых она проходила, вздрагивали и ёжились, будто кто-то открыл форточку на мороз. Остановилась у стола. Вуаль колыхалась от её дыхания. Если она дышала.

— Долг не твой, сестра, — сказала она.

Голос у неё был тихий и сухой, как шелест бумаги. Как шорох земли, которую сыплют на крышку гроба.

Огнея поморщилась.

— Невеюшка…

— Не твой, — повторила Невея. — Мальчик сел за мой стол. Первым. Месяц назад. Ты не помнишь. Я помню. Проиграл мне. Потом ушёл к тебе. — Вуаль чуть повернулась ко мне. — Его долг тебе прощён. Его долг мне — нет.

У меня внутри всё оборвалось.

— Он играл с вами?

— Один кон, — сказала Невея. — В «пьяницу». Детская игра. Он смеялся. Проиграл. Потом забыл. Все забывают.

— Сколько?

— Не деньги. — Вуаль колыхнулась. — Он.

Граф шагнул вперёд и встал рядом со мной.

— Это не по правилам, — сказал он. — Детская игра — не игра на жизнь.

— По правилам, — сказала Невея. — Он сел. Он проиграл. Я взяла бы в ночь ледостава. Я всегда беру в ночь ледо-

става. — Она снова повернулась ко мне. — Но ты поручительница. Ты судишь. Суди.

Я смотрела на неё. На чёрную вуаль, бледные губы, тонкие руки, сложенные на животе, как у покойницы в гробу. От неё шёл такой холод, что даже мой собственный, клятвенный, казался рядом с ним тёплым.

— Что я могу предложить? — спросила я.

— Поручись за него, — сказала Невея.

Граф резко втянул воздух.

— Аглая…

— Поручись, — повторила Невея тихо. — Ты умеешь. Ты теперь поручительница. Встань за него, как Ингвар встал за город. Если в ночь ледостава ты жива и город стоит — его долг сгорит. Мне будет не до него. Если ты умрёшь или город уйдёт под воду… — Вуаль качнулась. — Я возьму обоих. Тебя и его.

— А если я откажусь?

— Возьму его. Сейчас.

Где-то далеко, на Лиговке, Костя застонал в бреду. Я услышала это, будто он стонал рядом.

— Поручаюсь, — сказала я.

Невея протянула руку. Узкую, бледную, с синими ногтями. Я пожала её.

Это было как опустить руку в прорубь. Холод прошёл через меня насквозь, от пальцев до пяток, и что-то щёлкнуло, как замок нюрнбергской работы. Невея отпустила мою руку.

— Двадцатое, — сказала она. — Я приду.

Она повернулась, чтобы уйти. Потом остановилась, повернула голову в вуали и посмотрела не на меня, а на графа. Долго.

— И за тобой, Северин, — сказала она. — Тоже. Тебе я свечку уже поставила. В прошлый ледостав. Она догорает.

И ушла. Обратно в свой угол, за пустой столик, и села, сложив руки на коленях.

* * *

На улице шёл дождь со снегом. Первый в этом году: мокрые хлопья падали в чёрную воду канала и таяли. Я стояла на Каменном мосту, держась за перила, и дышала. Пар изо рта шёл тонкой струйкой. Мне было так холодно, как не было никогда в жизни, даже в Мойке.

Граф стоял рядом. Молчал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.